

Александр
БАРЧЕНКО

ИЗ МРАКА

Александр Барченко

ИЗ МРАКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В этот день у вице-короля не было торжественных аудиенций. В небольшой частной приёмной, позади рабочего кабинета, стрельчатые окна были распахнуты настежь.

Жужжал вентилятор. Словно гигантские бабочки, трепетали под потолком крылья электрической «пунки». Всё-таки было жарко. Томяще жарко.

Даже ветер, в те минуты, когда, взбородив лоснящуюся спину Джумны, лениво протискивался с улицы в окна, не приносил свежести, а нёс горячие потные вздохи реки. И те тяжко ложились на грудь, расслабляли мускулатуру, вызывали на теле изнуряющую липкую испарину.

У затянутых в мундиры фигур лица были унылы и потны. Ждали очереди начальники провинциальных частей и управления. Их вытребовали в Дели для келейного внушения по поводу последних беспорядков в Каунпоре.

Чиновники лениво шевелили перед носом платками, перчатками, касками. Кидали исподтишка друг на друга угрюмые, тревожные взгляды. Когда с шорохом распахнулась тяжёлая дверь, дежурный генерал лаконичным жестом пригласил следующего в недра святилища, прикрыл за ним дверь и поспешил приветливо повернуться к посетителю, только что оставившему кабинет.

А тот нервным движением сухой руки пропустил между пальцев седую бородку и быстрым взглядом молодых глаз под пенсне обежал приёмную, чуть пожав плечами безукоризненно сшитого фрака. Генерал глядел испытующе. Заговорил негромко, не без тревоги в голосе:

— Прошу извинить, сэръ. Не будет с моей стороны нескромностью осведомиться, э-э...

Посетитель во фраке перебил живо:

— Насчёт результата моего посещения, генерал? Какая же нескромность? Тем более с вашей стороны.

Дежурный генерал понизил голос до конфиденциального шёпота:

— Итак?

— Ол-райт! — коротко кинул посетитель во фраке.

— А?? — В голосе дежурного генерала сверкнули ноты настоящей радости. — Следовательно?

— Следовательно, вы можете спокойно телеграфировать своему маклеру насчёт Палембанга.

— Ол-райт! — генерал отозвался в свою очередь лаконично и радостно. Крепко пожал сухую руку собеседника, с чувством звякнул шпорами.

Человек во фраке, пощипывая привычным движением седую бородку, кивнул ещё раз генералу, направился к дверям быстрой, молодой походкой.

Начальник Каунпорской политической полиции провёл по угреватому лбу скомканным, взмокшим, как губка, от пота платком, оставил подоконник, который прилежно подпирал в течение получаса, почтительно кашлянул в сторону дежурного генерала.

— Тысячу извинений: вы бесконечно обяжете меня, сэр, если назовёте мне имя лорда, который только что оставил комнату. К большому стыду, должен признаться...

Дежурный генерал перебил сухо и коротко, тоном человека, желающего наметить границу между свитским генералом и чиновником, вызванным для служебного нагоняя:

— Человек, только что оставивший комнату, не лорд.

— А??

— Да, не лорд, что не мешает ему пользоваться полным вниманием его светлости.

— Приношу извинения.

— Человек, только что оставивший комнату, — продолжал генерал по-прежнему сухо, — председатель соединённого совета нефтяных трестов материка и Зондского архипелага, мистер Смит. Смит, сэр, если это интересует вас по обязанностям вашей службы. — Дежурный генерал особенно вежливо перегнул корпус по адресу бестактного чиновника, повернулся на каблуках и, взяв со стола совершенно чистый лист писчей бумаги, углубился в его изучение.

Между тем человек, привлёкший внимание каунпорского Пинкертон, принял в вестибюле из рук почтительно изогнувшегося сипая чесучовый балахон, очутившись на широких мраморных ступенях дворца, крикнул номер элегантного «таксо». Коротко приказал шофёру:

— В клуб! — И устало откинулся на мягких подушках.

Мощная машина бесшумно вынеслась с площади к бульварам. Переехали мост в мусульманский квартал и бежали по гребню древней пятисаженной стены. Вернулись опять в европейский город. Спустились к самому берегу Джумны, мимо гат, уже накалённых солнцем.

Пассажир в чесучовом балахоне рассеянно скользил взглядом по витринам магазинов, нагло тарачивших стеклянные глаза на кружевные воротники минаретов. Что-то напряжённо соображал, высчитывал. Не обратил внимания на суматоху в переулке, где серая глыба деревенского, не обжившегося в городе слона испуганно шарахнулась при виде автомобиля к стене, похоронив черномазого владельца какого-то ларька под обломками прилавка и ключьями сплюснутой полосатой маркизы.

Вдруг словно спохватился. Вытащил записную книгу с блокнотом, стал пробегать длинные столбцы цифр, отмечал иногда на полях золотым, измятым зубами, карандашиком.

Быстро набросал, растянув блокнот на колене, текст телеграммы. На минуту задумался, постучал карандашиком по крепким, чуть пожелтевшим зубам. Потом, должно быть решившись, росчерком подмахнул под текстом английское: «N. Smith».

Неожиданно погрозил кулаком в пространство, выпустил чисто, без акцента, по-русски:

— Э-эх... Была не была! Где наша не пропадала?..

Шофёр тотчас обернулся, поспешил осведомиться:

— Сэр?

— Ничего, ничего. Ступайте.

Автомобиль тархтел уже тормозом возле подъезда.

Председатель нефтяного треста махнул перчаткой бронзовому портье, кинувшемуся к клетке лифта, взбежал по лестнице с лёгкостью двадцатилетнего клерка, щёлкнул замком в коридоре третьего этажа. Там квартировали иногородние члены клуба во время своих наездов в Дели.

Не успел ещё уложить в чемодан надоевший фрак, который с ожесточением сорвал с плеч.

В матовое стекло двери сдержанно стукнули, и корректный басок стюарда почтительно крякнул:

— Сэр?

Принесли карточки визитёров. На подносике оксидированного серебра улеглись рядом прозрачные листки модного пергамента крупных акционеров, директоров с грубыми, захватанными кусочками картона рабочих делегатов либо неудачника-изобретателя, ходатайствовавшего об аудиенции и размашистым почерком рисовавшего выгоды «аппарата для тушения нефтяных пожаров».

Председатель рассеянно порылся в разнокалиберных листочках. Задержал на минуту взгляд на одном, с затейливым гербом. С интересом спросил стюарда:

— Капитан Саммерс спрашивал, когда я вернусь?

— Так точно, сэр. Капитан ожидает вашу милость в курительной комнате.

— Значит, он ещё здесь? Что же вы мне не доложили?

Так как председатель прибавил ещё два непонятных слова, что-то вроде «уот оболтс», вышколенный слуга со своей стороны ограничился полувопросительным:

— Сэр?

Председатель приказал нетерпеливо:

— Переодеться!

При помощи выросшего из-под земли черномазого «боя» переменял крахмальное бельё на прозрачную сетку-сорочку из индийской крапивы, сунул ноги в плетёные бабуши.

В лёгкой, как паутина, чесуче направился по коридору туда, где на матовом стекле двери выгравировано: «Smoking-room». Окунулся в благоухающие облака дыма хороших сигар. Здесь, на теневой стороне, среди стен, пронизанных системой охлаждающих труб, под

потолком, трепещущим «пунками», было почти прохладно. И, несмотря на ранний час, была масса народу. Сидели на низких оттоманках и пуфах, обтянутых шёлком, в тростниковых креслах-ленивках, в шезлонгах.

Вновь прибывший едва успел переступить порог, а со всех сторон неслись разом вспыхнувшие:

— Моо-нинг! Алло! Нет!

Отовсюду тянулись для пожатия выхоленные руки с ногтями «под китайского мандарина», с лимонно-жёлтыми мягкого золота перстнями, солитеры которых бросали снопы радужного света. Французский коммерческий агент, едва не вывалив соседа из кресла, бросился навстречу, успел перенять председателя. Тотчас, с видом заговорщика, цепко впившись в локоть, потащил к окну. Зашуршал утренним биржевым бюллетенем.

По крайней мере, добрый десяток представителей крупных предприятий немедленно сгруппировался с видом репортёров в корректном отдалении. В руках появились карнэ. И таинственные иероглифы пятнали миниатюрные листочки всякий раз, как уста вдохновителя треста колебали воздух названием цифры.

А вдохновитель, рассеянно пощипывая седую бородку, кидал фразы мягким, сипловатым баритоном полушутливо, полусердьясь. Изумлялся, что всем этим, живущим исключительно коммерческой жизнью, людям простейшие, с его точки зрения, вещи кажутся небесным открытием. Пытливо бродил из-под пенсне зоркими глазами, будто нащупывал что-то по углам, затянутым сизою дымкой сигарного дыма.

Суховатый, негромкий, очень вежливый голос окликнул рядом:

— Сэр!

Председатель живо обернулся:

— Саммерс? Рад вас видеть. Особенно рад... Идиот Джемс передал вашу карточку и не заикнулся о том, что вы ожидаете. Вы меня извините.

Стройный мускулистый блондин в форменном хаки и гетрах, с клапанчиками артиллерийского капитана, вежливо улыбнулся серыми холодными глазами, дружески пожал сухую руку биржевого оракула.

— Боюсь, что мне следует просить у вас извинения, сэр. Я гоняюсь за вами, как за мусбийцем-дезертиром. Держу пари, что вы не надеялись встретить мою унылую физиономию в Дели!

— Тем более рад, что встретил. Удивительно кстати! Масса новостей. Ждите меня на веранде, я сию минуту.

Председатель торопливо пожал руки ближайшим соседям, с комическим ужасом отшатнулся от француза-агента, нагнал капитана в коридоре. Взял под руку и кинул, понизивши голос:

— Я только что от его светлости.

Сумрак коридора погасил острую искру, вспыхнувшую на минуту в холодных серых глазах англичанина. Он отозвался односложно, по-видимому без особого интереса:

— Э?

Председатель повторил:

— Только что от его светлости. Дело сделано. Что вы на это скажете?

Англичанин минуту молча оттискивал подошвы на мягкой циновке половика. Потом сказал с некоторым удивлением:

— Что я скажу? Но ведь я не имею представления о том, зачем вы там были.

— Разве до вас не дошла моя телеграмма? Впрочем, что я? Как же она могла прийти, если вы третий день из Бенареса. В таком случае, сэр, для вас дело ещё интереснее. Ну, ладно. Заодно, на веранде.

— Из ваших телеграмм, — начал англичанин, придвигая к бамбуковому столику шезлонг, — из ваших телеграмм, дорогой сэр, я вывел заключение, что вы посетили Дели на прошлом съезде. Не так ли? Насколько мне помнится, вы в тот раз были приняты его светлостью. Стало быть... Впрочем, вы, быть может, имеете в виду ту же аудиенцию?

Председатель нетерпеливо скомкал накрахмаленную салфетку, принял из рук бронзовой живой статуэтки высокий стакан с толченым льдом и нажал рукоятку сифона.

— Ничего подобного, — отозвался он, размешивая соломинкой замутившийся херес. — Ничего подобного. Я сейчас из дворца.

— Концессия, надеюсь, по-прежнему за нами?

— Э! Концессия! Концессия была у меня в кармане, когда я о ней ещё только подумал. Эти голландские Питеры отлично понимают, где пахнет жареным. Просмотрите-ка эту телеграмму.

Капитан с интересом развернул синий, порядком захватанный бланк, вскинул глаза на дату, изумлённо покривил губы.

— Да-да, — подтвердил председатель, — вчера, сэр, вчера. А сегодня уже всё улажено. Что вы скажете?

Англичанин ещё раз внимательно пробежал текст, аккуратно сложил депешу и протянул через стол владельцу.

— Вы говорите, вам уже удалось выйти из этого положения?

— Ол-райт.

— Каким образом?

— Вы не догадываетесь?

— Даже представить себе не могу. Такой короткий срок.

— Короток для вас. Вы, молодёжь, жить не торопитесь, а нам, старикам, и то слава Богу. Час-то шестьдесят минут, а каждая минута — шестьдесят секунд. — Председатель покачал в воздухе губами соломинку, поглядел вниз, на бульвар, где вспыхнули звуки военного оркестра, продолжал медленно: — Когда забастовка охватывает такой огромный район, как арендованные нами участки, одна надежда на какое-нибудь острое выступление, с политической подкладкой, угрожающей общественному, скажем, спокойствию. В таком случае можно обратиться к содействию правительства, вызвать войска, словом, ликвидировать дело в два слова. Но эти артисты — вы видели телеграмму — стоят исключительно на почве экономических требований. И, что самое главное, за спинами этих наивных пролетариев, вне всякого сомнения, стоят те же капиталисты. Да, да! Местные, разумеется, колониальные. Им

вовсе не улыбается выпустить такой лакомый кусок. Словом, можно держать пари, что голландское правительство пальцем не шевельнёт в нашу пользу. Знаете, что я предпринял?

— Даже не догадываюсь.

Председатель оторвал листочек блокнота, на котором по дороге с приёма набросал телеграмму, протянул собеседнику.

— Смело! — выпустил тот через зубы, высоко поднимая рыжеватые брови.

— Прибавьте: «и коротко», — поправил председатель. — «Сутки на ультиматум. Немедленный расчёт».

— Вы надеетесь, что рабочие уступят?

— Ни в каком случае. Твёрдо убеждён, что нам придётся выплатить кругленькую цифру и остаться с одними агентами на месте.

Уравновешенный англичанин почти сердито развёл руками, сказал не скрывая раздражения:

— В таком случае категорически отказываюсь что-нибудь понимать.

Председатель лукаво съёжил мешочки под глазами.

— Мой дорогой сэръ, вы совершенно напрасно волнуетесь. Если бы вы были только моим пайщиком, если бы я не уважал в вас задатков настоящего коммерсанта, я бы или попросту не сказал ни слова, или не стал бы томить вас. Я ждал, что вы догадаетесь сами.

Председатель снова порылся в бумажнике, вытащил длинную узкую полоску бумаги.

— Вырезка из вечерней газеты. Можете пробежать там, где отчёркнуто синим карандашом. Ну-с, кажется, вы начинаете немножко понимать?

Председатель спрятал вырезку, заменил соломинку во рту сигарой, развалившись в ленивке, заговорил серьёзно и живо:

— Дело проще выеденного ореха. В округе Виндия четыре лесничества охвачены голодом. Мы-то с вами имеем представление, что такое голод в джунглях. Правительство озабочено продовольственной помощью. Не хватает рук. А о том, чтобы организовать общественные работы теперь, когда на носу дожди, нечего и думать. По моему расчёту, в лесничествах голодает не больше полутора тысяч человек, я имею в виду мужчин. Почему бы нам не освободить правительство от половины этих прожорливых ртов?

— Но... Но ведь это потребует колоссальных затрат!

— А разве мы не обладаем колоссальными средствами? Дорогой мой, война и коммерция — синонимы. Вам, как офицеру, не хуже меня известно, что на такой вызов неприятеля единственный ответ — мобилизация всей армии.

Англичанин долго обдумывал.

— А не боитесь вы... — начал он недоверчиво. — Не боитесь вы, что архипелаг встретит нашу армию не так гостеприимно, как вы надеетесь?

Председатель презрительно свистнул.

— Вот уж этого я боюсь меньше всего. Флаг его величества гарантирует не хуже броненосной

эскадры. Мы сразу становимся на почву международных отношений. Престиж Англии!

— Да, мы будем принуждены нажать все кнопки, — продолжал он после минуты молчания. — Принуждены будем выкинуть массу наличных, даже потерять, в худшем случае, миллион-два. Но в случае успеха, вы понимаете, каким дивидендом это пахнет? В особенности если теперь тихим манером скупить побольше бумажек. О забастовке узнают не нынче завтра, идиоты бросятся сломя голову сбывать с рук.

— Я с вами, — коротко кинул англичанин, подумав.

— В вас я был уверен. Тем более риск ваш доведён до минимума. В моём распоряжении вся наличность талукдира Абхадар-Синга. Старик без памяти от тех миллионов, что нажил благодаря мне на разведках в Непале. Сейчас у меня *carte blanche* на семь миллионов. Я ему и телеграфировать не стану.

Англичанин быстро опустил веки, вздрогнул чуть заметно щекой, спросил медленно, будто припоминая:

— Абхадар-Синг? Скажите... это тот самый, что женился в Европе?

— Говорят, — весело отмахнулся председатель, — это, дорогой мой, совсем другая область. Что ж, что женился? Старик деньгам цену знает. Эти туземные помещики с ног до головы женщин бриллиантами осыпят, благо отцы-деды награбили, а насчёт капитала слабо. Крепкий старик, отъелся рисом на своих болотах.

— Так что со стороны внезапного требования наличности вы гарантированы?

— Безусловно! Для старика моё слово — закон. Наконец, если бы, паче чаяния, и представился бы старикашка, наследникам нет никакого смысла прижимать меня. В их же интересах поддержать предприятие.

— Не лучше ли было бы всё-таки обеспечить себя и с этой стороны?

— Саммерс! Я не узнаю вас. Да ведь если я сообщу Абхадар-Сингу хоть одну фразу, завтра её будут повторять в Бенаресе, в Калькутте, чёрт знает где.

Офицер рассмеялся.

— Вы непобедимы! Не мне, с моими способностями, предупреждать вас. Позвольте ещё раз выразить моё уважение и преклонение пред вашим талантом.

Предприниматели обменялись горячим рукопожатием. Председатель стукнул в тарелку там-тама, приказал принести чистые бланки.

— Уф! Слава Богу! — кинул он, зашифровывая депешу. — Гора с плеч. С пятичасовым мчусь в Аллагабад. Э, чёрт! Не забыть бы телеграфировать, чтобы оставили прямое сообщение на юг. Вы когда намерены покинуть столицу?

Англичанин пожевал бритыми сухими губами.

— Сегодня я приглашён к сестре, у неё лекция по теософии. Скука отчаянная, но делать нечего. Необходимо кое с кем повидаться. Я думаю, завтра обратно: ведь я в командировке.

— Стало быть, вы попадёте в Бенарес раньше меня? Вот что, дорогой, вы не откажетесь передать моей дикарке.

На бритое лицо офицера словно кто-то надел мёртвую маску. Жёстко опустились углы тонких

губ, веки прикрыли холодные глаза, мускул нервно забился на щеке. С усилием сказал совершенно другим голосом:

— Дорогой сэръ, вы знаете, как я уважаю вашу дочь. Вы знаете, что мои чувства не ограничиваются одним уважением... Словом, вы поймёте, как тяжело для меня ваше поручение.

— Саммерс, Саммерс! — председатель укоризненно покачал головой, позвенел льдом в стакане. — И вам не стыдно? Мужчина, недюжинный коммерческий талант... И вы принимаете к сердцу каприз девчонки, только что соскочившей со школьной скамьи.

— Виноват, сэръ, дело идёт не о капризе.

— О чём же? Вы убеждены, что Дина увлечена этим мальчуганом серьёзно? Эх вы! Неужели же вы не можете понять? Девочка едет в Индию; в первый раз в жизни в океане. Крушение. Мальчуган делает красивый жест, остаётся на тонущем судне телеграфистом. Вы ведь слышали эту историю? Потом встреча здесь, в Индии. Мальчуган — авиатор. В довершение всего оказывается политическим эмигрантом. Надо, дорогой сэръ, родиться в России, чтобы понять всё обаяние этого слова. Разве здесь может быть речь о серьёзном чувстве?

Ревнивый огонёк вспыхнул в серых глазах англичанина.

— Они переписываются, — возразил он глухо.

— Эка важность! А вы подумали о том, что они ровесники? Двадцатипятилетний молокосос — муж Дины? Да она на голову выше его и в смысле ума и такта... Ну, ладно, ладно. Оставим. Я не подозревал, что вы это так остро переживаете. Не хотите — не надо. Стало быть, до моего возвращения?

Англичанин проводил худощавую нервную фигуру председателя тем же неподвижным маской-лицом, теми же тусклыми глазами. Молча застыл в шезлонге, забыв про питьё и газеты, которыми обложил его заботливый бой. Не вздрогнул, когда за стеною, над ухом, отрывисто тявкнул звонок и загудели тросы лифта.

И когда на веранду гурьбой повалили из клуба знакомые агенты соединённых компаний, Саммерс не ответил на их поклоны даже кивком.

Злобно нахмутив рыжеватые брови, кусал соломинку. Внезапно выпрямил туловище, стукнул в тамтам, долго молча сверлил взглядом изумлённое лицо боя.

— Сахиб?

— Телефонную книжку!

С сердцем перешвыривал листочки, что-то нашёл, что-то быстро отметил в карнэ. Пошёл с веранды, тяжело громяхая шпорами, снова прошёл мимо притихших агентов, не замечая поклонов.

II

День угасает.

Солнце расплавленным шаром, не меняя оттенка, повисло над горизонтом. И косые лучи

превратили воздух в золотую туманную дымку.

На пылающем диске светила пальмы чётко печатают зубчатые перья, чёрными пальцами пятнают его колонны развалин. За каналом, в мусульманском квартале, с минаретов несутся жалобные вопли муэдзинов.

Солнце исчезает за горизонтом. По свинцовой поверхности Джумны ещё ползают золотые ленивые складки.

И сразу темнота пропитывает воздух.

Быстро блекнут краски, густеют тени. Будто кто-то огромный и скользкий в тёмном плаще убегает в переулки, прячется под зонтами бананов и пальм.

А над горизонтом уже повисло другое светило. Огромное. Тускло-зеленоватого золота.

И воздух, и тени, и сами, кажется, стены уже насыщены зеленоватой призрачной дымкой.

Европейская сторона тарацит разноцветные сухие электрические глаза. Трамваи скрежещут. Крякают и стонут автомобили. Скетинги, кофейни, кинематографы иллюминированы рекламами. Оркестр на эспланаде ухает: «Боже, спаси короля...»

А за каналом, там, где тёмными пятнами к берегу липнут бульвары, где дорога взбегаёт на гребень старинной стены, в туземных кварталах тихо и сонно.

Белые призрачные фигуры на плоских крышах мусульманского города. Тихие звуки зурны, гонга, тихий звон тамбурина. Изредка неслышной походкой словно по воздуху проплывёт в переулке босая закутанная фигура, лицо занавешено до глаз, смуглые руки упали вдоль тела, на них звякают дешёвые браслеты.

С тростниковыми корзинами на коромысле плетётся в индусский квартал губастый седобородый укротитель змей. Компания софт загулялась на той стороне. За сифонами содовой, за стаканами шерри забыты национальные счёты с коварными «инглези».

Молодёжь спускается с моста. И первый же тесный переулок обнимает студентов жуткой и сладкой тишиной.

Важным спокойствием древности веет от округлых линий мечетей. Стрельчатые иглы минаретов купают острия в самой гуще лунного света. А у подножий прячутся бархатные тени.

Пугливо прячутся запоздавшие от ястребиного взгляда муллы. Просятся на язык отрывки Корана — да защитит Аллах и великий Пророк от искушений неверных.

Выгнув иссохшие спины, словно тени ракшазов, вдоль стен снуют силуэты тощих собак. На углу над чем-то подрались. Злобно кашляют, с визгом рычат, и зелёным светом фосфоресцируют голодные глаза.

Страшный стонущий рёв вспыхивает иногда за забором.

Кто-то, должно быть огромный и страшный, надрывается, задыхаясь, со свистом глотая воздух.

Это ослёнку, ростом с собаку, вздумалось обменяться с соседом впечатлениями по поводу снопа прелого маиса.

Вот другие звуки. Выпуклые, мощные. Они разом наполняют слух, и долго потом воздух

вокруг звенит мягким вздрагивающим гулом.

Трубят слон.

В индусском квартале ночной жизнью живут грязные глухие переулки. Здесь не диковинка встретить европейцев. Не туристов, изучающих нравы под эгидой сипаев, вооружённых револьвером, кастетом и «клобом»-свинчаткой. Не тех баловней судьбы, для которых хозяева притонов инсценируют танцы «настоящих» баядерок, индусские таинственные ритуалы, участники которых помирают со смеху над наивностью белых, едва за теми захлопнется дверь.

Здесь можно встретить глубокой ночью в самом подозрительном переулке настоящих аборигенов европейского города. Мелкого чиновника, агента компании, даже офицера под штатским костюмом.

Большей частью испытые, изнурённые лица, тусклые, ввалившиеся глаза, старчески сгорбленная фигура и характерная походка, колеблющаяся, неверная, говорящая о расстройстве координации. Эти трясущиеся унылые фигуры исчезают в тени, у дверей покосившегося сарая, либо спускаются вниз по осклизлым ступеням в один из подвалов-нор, которыми изрыто всё тело древних огромных десятиметровых стен, в тех местах, где каменные твердыни развалин не использованы белыми завоевателями.

В подвале тускло мерцает позеленевшая керосиновая лампа. Грязные циновки устилают пол. Посетитель платит хозяину притона. Получает из рук его трубочку, набитую бурыми пахучими шариками. Через минуту трясущаяся фигура на циновке среди дюжины других скорченных фигур. Тусклые глаза загораются горячечным огнём, румянец заливает щёки. Маньяк жадно глотает одуряющий дым. Глаза снова тускнеют, краска сбегает со щёк, и скоро вместо лица мёртвая маска с остекленевшими глазами, с печатью если не полного блаженства, то полного идиотизма.

А на европейской стороне кипит ещё жизнь.

Разъезд из театров. Рестораны, кофейни и бары залиты светом. Звон шпор, кваканье автомобилей, крики продавцов вечерних газет: «Последние сведения из Каунпора. Речь его светлости в Симле в законодательном совете. Чума усиливается. Похищение чёрного бриллианта Гундар-сахиба».

У подъезда Большой Оперы длинная вереница экипажей. Только что проводили калькуттского резидента, приехавшего слушать европейских гастролёров. Тёмнокожие полисмены в тюрбанах дирижируют своими палочками, направляя экипажи.

Из высоких стеклянных дверей льётся поток женских фигур в облаках кисеи и газа. В лиловом свете электрического солнца глаза кажутся больше, лица бледнее.

Группа молодёжи, студентов и офицеров заняла наблюдательную позицию на углу ступеней. Называют имена, раскланиваются.

— Доктор, знаешь, кто это?

— Э?

— Дочь французского агента. Недурна? Говорят, восемь миллионов.

— Маленьких, сэр. Я согласен подписать вексель на эту сумму, только бы избавиться от её мамы.

— Француженки скоро отцветают. Послушай, доктор, перед кем это ты так рассыпался?

— Профессор Нуар, председатель чумной комиссии.

— Тот самый, у которого дочь удушили туги? Дорогой сэръ, что ж вы меня не предупредили. Герой сенсационного процесса.

— Никакого процесса не будет: профессор отказался от всяких обвинений. Мне передавали, будто арестованные выпущены по его же ходатайству.

— Ну да. Так всегда! Церемонимся с этой сволочью, ищем популярности, а когда дело дойдёт до бомб либо восстания, хватаемся за ум. В прошлом году в Непале, теперь в Каунпоре...

— Чушь! Каунпорские волнения на экономической почве. Двигаемся, джентльмены. Больше никого...

— Кто это? Кто? Абхадар-Синга? Жена? Очень шикарна, очень... Сразу видна европейская кровь. Целая свита... Ах, уронила...

Публика в дверях уже редела. И на тёмном фоне полуосвещённого вестибюля тонкая женская фигура в костюме трудно передаваемой окраски, цвета стали с искрами золота, казалась прозрачной, сотканной из густевшей позади неё темноты.

В темноте, в воздухе будто висело бледное лицо с прозрачными голубыми глазами.

И у горла, чуть открытого скромным вырезом платья, там, где точеная бледная рука прихватила тонкими пальцами вуаль, зловеще мерцал кровавым глазом чудовищный рубин.

Две хорошеньких индуски, эмансипированные, затянутые в корсеты, очаровательные со своими огромными наивными глазами обитательниц джунглей, перекидывались с обладательницей рубина весёлыми фразами, сверкая ослепительными зубами.

Позади с каменными смуглыми лицами, опушёнными иссиня-чёрной кудрявой растительностью, опустив наполовину тяжёлые веки, медленно двигалось двое туземцев-выездных.

Бледная красавица остановилась на минуту на пороге вестибюля. Внезапно испуганно ахнула, отступила на шаг. И тотчас померк кровавый глаз рубина. Должно быть, брошь отстегнулась, упала, потому что все разом с тревогой наклонили головы, и каменные изваяния в тюрбанах сразу ожили, быстро продвинулись вперёд.

В ту же минуту стройная фигура, затянутая в офицерский мундир, сделала порывистый шаг, наклонилась и поклоном передала драгоценность собственнице.

Было видно, как красавица с голубыми глазами обернулась к офицеру, как благодарила, сразу затмив улыбкой тусклое миганье электрических фонарей. Она, должно быть, протянула руку, и офицер приложился к руке с поцелуем — было видно, как выпрямился потом рассечённый безукоризненным пробором затылок.

Миссис Абхадар-Синг со своей свитой поместилась в шикарный «электрик», шофёр взялся за руль, и офицер, поднявший драгоценность, проводил автомобиль глубоким, но сдержанным поклоном. Так кланяются очаровательной женщине, с которой не имеют чести быть знакомым.

— Саммерс! — окликнули офицера из группы молодёжи со ступеней.

Офицер, поднявший рубин, сильно вздрогнул. Тревожно стянув брови над переносьем, повернулся на голос.

— Э... Вильсон!

Офицер, видимо, сразу успокоился, взбежал, звеня шпорами, на подъезд.

— Хо, хо, сэр! Вы не теряете времени в командировке. Что она вам сказала?

— Кто? Ах, эта дама? Странное дело, сэр; что же ей было сказать? Поблагодарила, разумеется.

— И только всего?

— Хо, хо! Вильсон удивлён, что она не предложила Саммерсу рупию.

— Очевидно. Кстати, вы, кажется, знаете кто это?

— А вы, сэр, будто бы не знаете?

— Я же бываю в Дели раз в год.

— Таинственная красавица, сэр, таинственная. Никто не знает, кто и откуда. Нигде не бывает в обществе. Миллионерша. Сплетничают, будто талукдир Абхадар-Синг вывез её из Европы.

— Ах, так это жена Абхадар-Синга? Слышал, но не подозревал, что у старика такая куколка. Однако время — деньги. Кто куда?

— У меня бридж у Гордонов.

— Я успею ещё на заседание, в банк.

— Кто же ложится спать в двенадцать часов? У Джексонсов сегодня танцуют.

— В таком случае я вам не пара. И так измучился за день. Завтра с семичасовым в Бенарес. Я и не ужинал ещё.

Саммерс торопливо пожал приятелям руки, вскочил в первый попавшийся таксомотор, снова откозыряв, крикнул шофёру:

— Клуб «Меркурий».

III

— Стой, говорят тебе!

— Но... сахиб нанимал машину до клуба «Меркурий».

Саммерс в бешенстве рванул бронзового шофёра за ворот, распахнул дверцы автомобиля и, путаясь шпорами, соскочил на дорогу.

— Тупое животное!

Саммерс бросил кредитку на сиденье, быстро перебежал мост и скрылся в переулке мусульманского квартала.

Он очутился здесь, должно быть, не в первый раз. Смело переходил улицы, не задерживаясь на перекрёстках, менял направление. Окунулся в тень у стены выбеленного одноэтажного

домика с плоской крышей. Несколько раз настойчиво стукнул особым телеграфным стуком в деревянную дверь, не достающую на четверть до верхнего косяка.

Несколько минут никто не отзывался. Саммерс готовился уже повторить стук.

Потом в темноте над дверью испуганно блеснули глаза. С грохотом отодвинули засов.

— Сахиб? Да благословит Аллах...

На пороге почтительно выгнулась коренастая фигура смуглого чернобородого сипая. Обитатель белого домика, очевидно, только что соскочил с постели. Кое-как накинул на плечи форменный китель с петлицами младшего инспектора наружной полиции; на ногах широкие туземные шаровары, складками сползшие до полу. Тюрбана второпях не успел повязать, и бритый череп прикрыт крошечной вышитой тюбетейкой.

— Да будет благословен час, когда Аллах внушил сахибу...

— Не распускай языка, Раджент-Синг, — оборвал Саммерс. — Я здесь не затем, чтобы обмениваться с тобой любезностями. Слушай внимательно. Мне необходимо сию минуту быть за Пургана-Килу одному и так, чтобы привлечь меньше внимания.

— Пургана-Килу? — сипай поёжился от суеверного страха. — Да сохранит сахиба Аллах от необдуманного шага. Ночь у Пургана-Килу? Рядом с Джантар-Мантар боятся ночевать даже...

— Заткни фонтан, Синг, — снова оборвал Саммерс. — Я не намерен тащить с собою к развалинам такого труса, как ты. Мне нужна лошадь. Понимаешь? И, если через десять минут я не буду в седле, ты отведаешь, чем пахнет вот этот стэк.

Голос сипая просветлел, лишь только он убедился, что англичанин едет в рискованную экскурсию один. Раджент-Синг шагнул через порог, приложил руку ко лбу, к сердцу и торопливо заговорил:

— Да будет проклята минута, когда в сердце сахиба вспыхнуло подозрение, будто ничтожнейший слуга его способен уклониться от приказания. Сахиб приказывает, чтобы слуга его остался дома? Приказание будет исполнено. Сахиб требует лошадь? Она будет через пять минут, хотя бы Раджент-Сингу пришлось сделаться конокрадом.

— Ты долго ещё будешь размазывать?

— Сию минуту, сахиб! Раджент-Синг должен надеть тюрбан, иначе наутро мальчишки зашвыряют его камнями. Одну минуту, сахиб.

Инспектор быстро исчез в недрах своей мазанки. Появился в тюрбане, в кителе, в форменных гетрах. Сказал нерешительно, беспокойно скосив глаза в сторону двери, за которой что-то шуршало, любопытно поблёскивали глаза, шептались и фыркали голоса — должно быть, женские.

— Если бы я смел предложить сахибу гостеприимство в такой убогой конуре... Но сахиб слишком...

— Не размазывай. Отправляйся за лошадью. Я подожду здесь, на улице.

Раджент-Синг кинул несколько сердитых, отрывистых фраз в сторону двери, и та с визгом и грохотом тотчас захлопнулась.

Инспектор сделал торопливый «селям», опрометью бросился вдоль переулка, исчез на

перекрёстке.

Стараясь держаться в тени, Саммерс прошёлся вдоль стен. Из-за двери, чудилось ему, следили за ним чьи-то глаза, кто-то шептался, смеялся сдержанно. Через улицу с той стороны прошмыгнула длинная тень. За нею другая. Саммерс рассеянно копал пыль клапаном стэка. Вздрыгнул внезапно. Почудилось, будто что-то мягкое сзади толкнуло в икру левой ноги. Быстро обернулся.

Что-то испуганно шарахнулось под стену, закашляло. Саммерс пригляделся, невольно вздрогнул. Четыре пары зелёных фосфоресцирующих глаз теплились совсем близко, в двух-трёх шагах.

Бродячие собаки! Он хорошо знал этих ночных хозяев мусульманского квартала. Тощие, взъерошенные, одичавшие от голода, они днём прячутся на окраинах, в тени стен и порталов мечетей. Наступает ночь — и бродячие санитары вступают в отправление своих обязанностей. Злобные и трусливые, призрачные, как вечерние тени, они шмыгают под ногами, рвут друг на друге клочьями шерсть, целой стаей провожают запоздалого путника, понемногу сокращают до него расстояние, смотрят на путника так выразительно, так плотоядно ласкают горячими взглядами его мясистые части, что рука сама тянется в карман за револьвером.

Сухой треск. И трусливая стая, заложив между ляжек хвосты, сломя голову удирает в переулочек. Прошло две минуты — и снова позади напряжённые, жадно обнюхивающие острые морды.

Саммерс машинально схватился за рукоятку своего одиннадцатизарядного «Саваджа». Тотчас оставил: выстрел переполошит соседей. Эти черномазые скоты — страстные любители шумных происшествий. Поскользнувшийся на перекрёстке осёл либо воришка, настигнутый хозяином, вмиг собирают тысячную толпу. Гортанный оглушительный гвалт висит в воздухе, мелькают десятки кулаков, скрюченных пальцев, зверски вращаются выкаченные белки...

Стрелять нечего и думать.

Саммерс сделал шаг к перекрёстку. Впереди также вспыхнули четыре зелёные точки. С той стороны переулочка, из-под низких сводчатых ворот медресе, змеиными движениями проползли новые тени.

Что-то снова коснулось кожаных гетр офицера. Тот наотмашь вытянул стеком. Злобный трусливый визг. Зелёные светляки на минуту потухли. Потом опять засветились несколько дальше. Сбоку зажглись зелёные огоньки.

Положение становилось глупым.

Животные точно инстинктом чуяли, что человек не пустит в дело оружия. Круг фосфоресцирующих точек сжался теснее. Тёмное облако сбежало с луны, и на освещённом пространстве, куда не доставала тень от стены, отбросили собственные тени тощие, уродливые фигуры с поджатым хвостом, взъерошенной шерстью, выгнутые спины, припавшие к передним лапам острые морды.

Добежать до дверей Раджент-Синга?.. Но офицеру королевской армии искать защиты у одалисок полицейского сипая, которого сам он дотащил кое-как до места младшего инспектора из простых констеблей в Бенаресе? К чёрту! У него были причины протезировать этой грязной скотине, но самому ему искать защиты... клянусь Юпитером, кусает за ногу!

Саммерс повернул стэк рукояткой вниз: изо всех сил взмахнул налитым свинцом

набалдашником.

Удар пришёлся по черепу. Противно хряснула кость. Животное клубком откатилось от ног к стене, завыло, и разом со всех сторон в унисон поддержали разноголосые жалобные вопли. Крепко вцепившись в гибкий наконечник стэка, Саммерс застыл неподвижно.

Погребальное «у-у-у...» кончилось тонким, рыдающим «и-и-и...».

Сердито прокашляли несколько раз, будто по команде замолкли. И тотчас слева и справа к ногам потянулись продолговатые, мутные, словно влипшие в землю тени.

Струйка холода забралась за воротник офицера: поползла по спине, захолодило живот, и ушла в ноги. И колени забились неудержимой расслабляющей дрожью.

Взмахнул стэком направо — и почувствовал тотчас, как у левой икры, сорвавшись с толстой лакированной кожи гетр, противно лякнули зубы.

Сразу затуманил голову панический ужас и отвращение. Очертя голову чудовищным прыжком бросился прямо в ряд зеленоватых огней, стиснув зубы, колотил свинцовой рукояткой по чему-то мягкому, скользкому, по твёрдому, с хрустом подававшемуся под ударом. Выхватил левую руку револьвер, решил стрелять, — но услышал испуганный голос:

— Сахиб, сахиб! Не нужно бежать. Ради Аллаха, стойте на месте!

Раджент-Синг карьером направил коня в самую стаю, не успел ещё доскакать, и длинные тени с испуганным визгом растянулись по переулку, исчезли одна за другой на перекрёстке под воротами, под аркой мечети.

— Благодарение Аллаху. Сахиб не укушен?

— Чёрт бы побрал вашу проклятую дыру! — отозвался англичанин, напрасно стараясь вернуть самообладание. — Сам служишь в полиции, старый идиот, и допускаешь такие шутки подле дома!

Магометанин спрятал в бороду улыбку, отвесил почтительный «селям».

— Да хранит сахиба Аллах. Пусть сахиб не тревожится. Эти ракшазы не трогают людей. От них только не надо убегать.

— Идиот! Я бежал не от них, а на них.

— Пусть сахиб не прогневается на ничтожнейшего из слуг. Раджент-Синг бедный агент, ещё не зачисленный в инспекторский штат. А на этих дьяволов смотрит сквозь пальцы старший инспектор. Они помогают ему прикарманивать деньги, отпущенные на чистку стоков и выгребных ям.

— Я и не слышал, как ты подъехал, — сказал офицер, успокаиваясь.

Раджент-Синг хитро осклабился:

— Если сахиб беспокоит себя посещением ничтожнейшего из слуг, значит, сахиб не хочет, чтобы о поездке его появилась заметка в утренних газетах. Значит, и конь сахиба должен поменьше делать шуму.

Офицер наклонился к копытам коня, обёрнутым войлоком с кожей, подтянул подпруги, достал из бумажника новенькую кредитку и сказал коротко:

— Лошадь останется у меня до утра. Придешь за ней к мосту за час до восхода. Не

опаздывать.

— Да благословит сахиба Аллах. Быть может, сахиб замолвит словечко насчёт моего зачисления в штат. Года карабкаются на плечи, как гануманы на крышу, а нештатным не полагается пенсии.

— Хорошо. Будет случай — поговорю.

— Да благословит...

Офицер поправился в седле, тронул шпорой, и невзрачный туземный пони, задрав косматую голову, переступил обутыми ногами.

IV

Саммерс, работая поводом, сдержанным шагом миновал перекрёсток, свернул по гребню стены — и прямо под ногами увидел сбегаящие по крутому берегу крыши, перистые веники пальм и золотую широкую ленту, что полоскала в уснувшей Джумне луна. Шагом миновал старинные низкие ворота, поднялся в гору, спугивая на углах стаи своих недавних врагов. Проехал казармы, и патруль, ведший смену, с изумлением дал дорогу и отдал честь при виде одинокого офицера чужого полка на туземном коне в этой глухой части предместья.

Только когда позади остались башни элеваторов, когда разноцветные глазки железнодорожных сигналов, красно-слепой огнистой цепью, повернув под прямым углом, скрылись за пригорком и впереди мутно забелело давно заброшенное, Бог ведает кем и когда засыпанное шоссе, — Саммерс поднял пони в галоп, вытянул вдоль крупа стёком и через каждые десять минут напоминал ленивому животному о важности экспедиции жестокими уколами шпор.

Луна клонится к горизонту. Отсюда, из-под пригорка, кажется, будто жёлто-зелёный диск повис над самой землёй. Колонны ступенчатой громады Кутаб-Минар чернеют на золоте светила частой и тонкой решёткой. Среди развалин, в стороне от дороги, мутно белеют шатры и крыши бараков. Там идут раскопки.

Лагерь археологов спит. Только ослёнок заревел жалобно, давится, харкает.

Пони шарахнулся в сторону, перескочил канаву, шурша щебнем, пошёл по осыпи вдоль старинного водоёма.

Саммерс придержал коня, перекинув поводья на руку, соскочил на землю. Теперь предосторожности лишни. Если услышит коня бродяга, приютившийся на ночь среди развалин, сам постарается унести ноги. Он будет клясться потом бородою Пророка, что сам раджа Дхана, покойник, гнался за ним на коне, ростом с боевого слона. Саммерс освободил копыта пони от набитой в клочья предохранительной обуви, снова вскочил в седло.

Конёк облегчённо замотал кудлатой головой, весело захрустел щебнем. Обогнули выпуклую круглую стену старинной обсерватории. Огромная дамба-стена прикрыла землю чёрной бархатной тенью.

Саммерс доехал до конца дамбы и вдруг осадил пони. Прямо в глаза ударил ослепительный свет двух прожекторов.

— Миледи ожидает сахиба, — сказал кто-то не особенно чисто по-английски. Фонари слепили

глаза.

— Выключи фонари, болван. Видно за милю.

Саммерс кинул поводья подбежавшему шофёру и с удовольствием разминал затёкшие ноги.

— Миледи ожидает сахиба, — повторил темнокожий шофёр. — Сахиб может обойти кругом, в эти ворота. Миледи пошла в Джантар-Мантар, а мне приказала ожидать здесь.

Дрожащий, испуганный голос шофёра говорил о том, что приказание миледи ждать в одиночку, в таком месте, особого удовольствия шофёру не доставляет, а теперь сахиб приказал ещё выключить фонари.

Англичанин сунул ему для ободрения бумажку. Спотыкаясь среди обломков и щебня, направился к чёрной пасти ворот.

Он был в этих развалинах в прошлом году — целой компанией, с туристами, с дамами. Осматривали соседние, начисто отрытые гигантские приборы-здания, и один из туристов прочёл целую лекцию об астрономических познаниях древних индусов. Говорил о том, что на месте этих зданий, построенных раджой Джай-Сингом из Джейпура, были другие, ещё более грандиозные, ещё более точные. Их разрушил великий Тимур в 1440 году. Говорил о том, что Джантар-Мантар со своими кругами и ступенями определяют координаты светил и движение солнца с точностью до минуты.

Чёрта ли во всей этой мудрости, если она не помешала всякому, кому не лень, лупить этих высококультурных арийцев и обдирать их с тем же смехом, с каким обдирают их клиенты королевского правительства в настоящее время!

Саммерс спрыгнул с последней, засыпанной щебнем, ступени, очутился перед низкими сводами и двинулся к свету, на внутренний двор.

В первую минуту он никого не увидел. Обежал взглядом выгнутые, обрушившиеся стены с чёрными прорезями длинных амбразур, какие-то грубо отёсанные глыбы, засыпанные на дворе щебнем.

— Джим! — сказал тихий голос.

Саммерс нервно щёлкнул стэком по гетре, порывисто повернулся в ту сторону, где за дверью, ведущей внутрь развалин, стены сгустили непроницаемую темноту. Сказал сердито:

— Клянусь Юпитером: меньше всего расположен к романтическим неожиданностям.

Кто-то тихо засмеялся в темноте. Потом тот же голос ответил:

— Чего же ты сердишься? Ты ведь сам выбрал это место сегодня.

Саммерс небрежно приложил к губам тонкую руку женщины и присел рядом на обломок мраморной балюстрады. Женщина тихо сказала:

— Посмотри, как красиво, Джим. Хорошо?.. Страшно, призрачно, жутко. Ты видел когда-нибудь такую луну, Джим? Луна сковала мне руки и ноги... Я не могла двинуться с места. Я, должно быть, лунатик. Я грезила...

— Нечего было прятаться. Я, слава Богу, не юнкер, а ты не таперша в кинематографе.

Женщина возразила печально:

— Я так редко вижу тебя, Джим.

— Ты предпочитаешь, чтобы подробностям наших отношений посвятили фельетон в «Телеграфе»? Слуга покорный! Впрочем, ты, быть может, не прочь снова променять положение супруги миллионера на окошко кассирши в кинематографе?

— Я не знаю, где было лучше, — задумчиво возразила женщина.

— Бетси! Ради Создателя, без сентиментальностей. Мальчишкой ещё я влюбился в твой удивительно ясный, дисциплинированный ум, в твои прозрачные холодные глаза. Но с ужасом вижу, что ты в тридцать лет готова разыгрывать пасторали.

Женщина сухо расхохоталась.

— В самом деле? Похоже? Успокойся: маленькая комедия. Я совсем одичала в джунглях, хотела испробовать, могу ли я выступить в прежней роли.

— Слава Богу.

— Ещё бы! — голос женщины звучал немножко напряжённой бодростью. — Ещё бы. Потерять такого товарища, такую светлую голову.

— Такого друга, — поправил Саммерс значительно теплее. Взял снова бледную тонкую руку, поднёс к губам и сказал задумчиво, словно пытаюсь убедить самого себя:

— Бетси, говоря откровенно... Если я в самом деле любил в жизни кого-либо, так действительно тебя одну.

— Да мы, кажется, сами не прочь от сентиментальности? К делу, сэр, к делу!

Саммерс покопал стэком щебень и сказал:

— Мне необходимо было сегодня повидаться с тобой.

— Это я поняла в ту минуту, когда ты кинулся поднимать мою брошь.

— Да. И попался на глаза Вильсону, доктору Дженнкинсу. Завтра весь город будет знать о происшествии с твоим чудовищем рубином.

— Чудовищем? А знаешь, Джим, в самом деле, я немножко боюсь его. Слово живое что-то у горла, вот-вот схватит, задушит. Погляди, при луне он не красный, а чёрный... Чёрный огонь... Правда, жутко?

Саммерс рассеянно скользнул взглядом по белевшей под вырезом точёной шее и сказал равнодушно:

— Охота таскать на себе целое состояние! Поместила бы в банк.

— В банк? Мой рубин? Ну уж что... Однако мы теряем время попусту, Джим. Ты говоришь, необходимо было повидаться?

— Да, необходимо. — Саммерс подвинулся ближе, взял женщину за руку и сказал, стараясь придать голосу мягкий оттенок: — Бетси, ты уверена в моей дружбе?

— Положим.

— Оставь этот тон, Бетси. Скажи мне: советы, которые я давал тебе иногда, приносили тебе убыток, несчастье?

Женщина долго молчала, пристально глядя в тёмный угол двора. Потом сказала медленно,

тихо, припоминая:

— Убытки? Советы... Один раз я призналась, что люблю человека... младшего лейтенанта артиллерии, сказала, что не могу жить без него, что приму яд, утоплюсь в Темзе, голову положу на рельсы. И Джим дал мне совет... Взять ангажемент в Париж, театр варьете — ирландские мотивы и танцы под волынку.

— Э...

— Ты предлагаешь вопросы, я отвечаю. В другой раз я пожаловалась, что мне не даёт проходу шестидесятилетний старикашка с лицом чёрным, как голенище русских сапог. Я спросила у Джима, и Джим дал совет ехать со старикашкой за океан.

Саммерс сердито стегнул стэком по гетре и зло отозвался:

— В конце концов несчастная жертва Джима Саммерса погибла в джунглях от жёлтой лихорадки и укушения кобры. Бетси, Бетси! Я считал тебя серьезнее.

— Нет, жертва не погибла, — медленно сказала женщина, выпрямилась и сдвинула пушистые брови. — Не погибла. Стала женой. И её повелитель... — Бетси с брезгливым презрением передёрнула плечами. — Её повелитель не смеет шевельнуть пальцем без её разрешения. Да, не смеет. Слышишь ты, Джим? Но... могло быть иначе.

Англичанин пропустил мимо ушей последнюю фразу. Собрал бритые губы в улыбку восхищения.

— Клянусь Юпитером! С тех пор как мы сидим в этой дыре, я в первый раз слышу настоящую Бетси. Я уж заподозрил... Однако не будем терять попусту время. Дело вот в чём...

Саммерс с минуту подыскивал выражения. Спросил резко и коротко:

— Ты уже богата, Бетси?

— Не понимаю вопроса. Ты же знаешь состояние мужа.

— Мужа... Я говорю лично о тебе. Значит, ты не успела себя обеспечить как следует.

— Гм... Этих безделушек, — она качнула подбородком на огромный рубин, — этих безделушек у меня накопилось тысяч на тридцать... фунтов, разумеется. Потом маленькая рента на булавки. В общем я располагаю бесконтрольно капиталом в пятьдесят тысяч фунтов.

— Ты называешь это капиталом?

Женщина спокойно возразила:

— Ты забываешь, мой милый, что после моего старика ко мне перейдёт около двенадцати миллионов.

Саммерс скептически покривил губами:

— Перейдёт ли?

— Ну уж это предоставь знать мне, — спокойно и уверенно отрезала женщина. — Я знаю своего Синга так, как ты меня не знаешь. Наследников нет, а племянниц я сама постараюсь не забыть. Девочки прелесть.

— Всё это отлично. — Голос англичанина не утерял скептического оттенка. — Я далёк от

мысли заподозрить твоего старика в неблагодарности. Эти черномазые разбойники умеют казаться джентльменами, когда ничем не рискуют. Само собой, на тот свет он своих миллионов не потащит. Станем, душа моя, на другую точку зрения. Будет ли у него что тебе завещать?

— Что ты хочешь сказать?

В голосе женщины протиснулись беспокойные ноты.

— Только то, что говорю сейчас. Чем ты гарантирована, что состояние твоего старика уцелеет до его смерти?

Женщина беспокойно приподнялась с обломка, схватила руку англичанина цепкими пальцами. Крикнула, расширив прозрачные глаза с огромными чёрными зрачками.

— Джим! Не играй в прятки. Ты что-то знаешь?

— Я просто хотел предупредить тебя, — возразил Саммерс, холодно освобождая руку. — Я имел в виду предупредить тебя, чтобы ты, если можешь, удержала мужа от рискованных спекуляций.

— Но каких спекуляций? Ради Бога, объяснись! Ты пугаешь меня... Ведь ты знаешь, что Абхадар-Синг держит наличный капитал там же, где и ты — в компании Смита... О каких же спекуляциях речь?

Капитан Саммерс несколько минут молчал, опустив голову, ожесточённо ковыряя стеклом слежавшийся щебень. Жёстко, отрывисто выбрасывая фразы, сказал:

— Да. Я тоже клиент компании Смита. Но я держу там бумаги. Без моей подписи из них не разменяют и шиллинга. Я сам слежу за игрой, и старик слишком хорошо знает меня, чтобы шевельнуть листочками моих акций без моего ведома. Твой же муж держит чудовищную наличность.

— Но ведь Смит...

— Что Смит? Смит такой же человек, как все другие. Даже более подозрительный, чем другие. Эти натурализованные подданные так же легко скрываются с горизонта, как и появились на нём. Четверть века назад он явился из России в качестве бежавшего с каторги — недурная рекомендация!

— Джим! Но ты знаешь отлично...

— Что он был в своё время реабилитирован? Э, дорогой мой друг, в такой стране, как наша почтенная соседка по Афганистану, за хорошие деньги можно не только реабилитировать, а заново создать человека. И когда такой феникс затевает операцию, где риск исчисляется цифрами с шестью нолями, невольно приходит в голову мысль, не намерен ли он снова возродиться из пепла... на другом конце земного шара.

— Ты долго будешь томить меня, Джим?

— Хочешь подробностей? Изволь. Что ты на это скажешь?

Женщина, широко раскрыв глаза, слушала непривычные биржевые термины, цифры; сказала неуверенно:

— Я плохо понимаю всё это... Везти сто тысяч голодных на архипелаг? Но ведь на это пойдут страшные деньги?

— Вся наличность твоего мужа. За это могу ручаться. А затем... Я вовсе не утверждаю, что дело безнадежно. Весьма возможно, оно принесёт колоссальную прибыль. Ну а в случае провала...

Женщина испуганно вздрогнула, вскочила с обломка, торопливо заговорила сорвавшимся голосом:

— Джим! Но я столько пережила, столько вынесла. Я так сжилась с мыслью, что через год, через два у меня будет свобода и средства.

— Пятьдесят тысяч фунтов?..

— Джим! Ты жесток. Я привыкла тратить половину этой суммы в год. Я не переживу потери. Зачем ты напугал меня, Джим?

— От тебя зависит не допустить этой потери, — холодно кинул англичанин.

— Но каким образом, объясни, ради Бога?..

— Заставь мужа потребовать наличность обратно.

Женщина задумалась.

— Нет, — сказала через минуту. — Я не могу поручиться... Абхадар-Синг так доверяет Смиту.

— Ты только что хвасталась, будто он не смеет шевельнуть пальцем...

— Ах, так это в хозяйстве, дома... денежные дела он ведёт сам. Я нарочно держалась в стороне, чтобы не возбудить в нём подозрений. Джим, ради Создателя! Что ж мне делать?

Саммерс в свою очередь поднялся с камня. Размял ноги. Злобно закусив губу, со свистом вращал в воздухе стэк.

— Решительно себе не представляю. Остаётся ждать результата этой аферы или... или счастливого случая.

— Именно?

— Гм... именно... Что бы ты, например, сказала, вернувшись в отель и найдя телеграмму, что твой супруг присоединился к длинному ряду предков?

Женщина вздрогнула, оперлась на обломок мрамора, долгим тяжёлым взглядом будто изучала чисто выбритое лицо офицера. Сказала тихо:

— Какой ты зверь!.. Какой ты безжалостный, бессердечный зверь, Джим. Я не верю тебе, не верю. У тебя просто-напросто счёты со стариком Смитом. Безусловно... Мне даже что-то передавали. Смутно помню. Да, да... Не сватались ли вы, дорогой сэръ, к его дочери?

Саммерс порывисто обернулся. Стегнул стэком по камню так, что хряснул металлический стержень под плетёнкой ремня. Сказал шипящим, приглушённым голосом:

— Наглая ложь! Только человек, не имеющий понятия обо мне, может допустить, чтобы я из-за женщины, — англичанин презрительно скрутил губы, — из-за дочери тёмного дельца с уголовным прошлым, рисковал подрывать верное дело! Вы могли бы скорее заподозрить, что я добиваюсь вашей руки, миледи.

Саммерс с убийственным сарказмом почтительно перегнул корпус.

— Почему же ты сам не требуешь своих денег? — настойчиво переспросила женщина, пропустив мимо ушей оскорбление.

— Не вижу надобности десять раз повторять одно и то же. Мои бумаги не подвергаются риску. Моё требование равносильно разрыву с компанией. Со стороны же твоего мужа — это простая осторожность.

Женщина задумалась.

— Можешь ты мне поклясться, — сказала она медленно, — можешь ты поклясться словом джентльмена словом офицера, что тобой руководит...

Саммерс перебил быстро, с готовностью:

— Клянусь словом джентльмена и офицера, что даже в том случае, если бы здесь сейчас очутился сам Абхадар-Синг...

Офицер внезапно поперхнулся, вздрогнул, побледнел, как обломок мрамора, который он стегал стёком в такт своей речи.

— Что за чёрт?..

Женщина в свою очередь повернулась в ту сторону, где на белом фоне стены щербатым зевом чернела сводчатая дверь внутрь развалин. Со сдавленным криком — ужас перехватил горло — метнулась в темноту, под защиту балюстрады.

В чёрном бархатном зеве, под сводами, мутно белела высокая человеческая фигура. Контуры фигуры сделались резче, словно впитали в себя окружающую тьму. Фигура колыхнулась, двинулась вперёд, стала неподвижно на пороге, вся на виду, облитая призрачным светом луны.

Саммерс с усилием пошевелил рукой. Пытался нашарить в кармане револьвер, сдвинуть предохранитель. Одеревеневшие пальцы тупо возились, срывались с полированных частей металла. Не мог оторвать остановившихся глаз от странного призрака. Видел отчётливо мягкие складки одежды, снежно-белый тюрбан с тускло мерцающей пряжкой, тонкие черты чуть опущенного бородкой лица, бледного той смуглой бледностью старой слоновой кости, что отличает только самые чистые семьи раджиутов.

Призрак запахнул тонкой рукой складки белой одежды, сделал шаг — и под ногой у него хрустнул щебень.

Тёплая волна прилила к сердцу англичанина. Мысленно расхохотался сам над собой, разом нащупал револьвер, сделал порывистый шаг, щёлкнул предохранителем.

— Что за комедия? Что вам здесь нужно?

Призрак, не выказывая особого беспокойства, отступил в амбразуру.

— Прекратите комедию, иначе я буду стрелять! — крикнул Саммерс, не на шутку обозленный.

Призрачная фигура совсем отступила в темноту. Через минуту снова показалась на пороге рядом с другой, чуть пониже в белом европейском костюме.

— Здесь кто-то есть, очевидно? — расслышал Саммерс негромкий спокойный голос.

Говорили по-французски. Саммерса дёрнули сзади за хаки. Испуганный, срывающийся голос

Бетси шептал:

— Джим, ради Бога... Это Гамаюн-Синг, сосед мужа. Джим, я пропала!..

— Здесь, очевидно, недоразумение, — отозвался с порога по-английски мягкий голос. — Кто-то принял нас за разбойников, хочет стрелять... Очевидно, туристы. Господа! Вы к нам обращаетесь?

— Вне всякого сомнения, к вам, кто бы вы ни были, — голос Саммерса не потерял угрожающих интонаций.

Призрачные фигуры возразили:

— Вы совершенно напрасно волнуетесь. Вам не грозит никакой опасности. Мы осматривали развалины.

— Прошу извинения, сэр, — без церемоний оборвал Саммерс. — Говоря откровенно, меня весьма мало интересует, чем вы здесь занимались. Вы испугали своим бутафорским выходом не меня, а... дам, которых я сопровождаю.

Саммерсу показалось, будто фигуры сделали шаг в его сторону. Он быстро отступил в тень, стараясь прикрыть тонкую фигуру Бетси, и крикнул угрожающе:

— Повторяю, не имею никакого желания продолжать разговор с незнакомыми. Покорнейше прошу идти своей дорогой.

Незнакомец в тюрбане сухо отозвался:

— Я позволю себе напомнить вам, сэр, что мой спутник не англичанин. Он не привык к обращению в такой категорической форме.

Саммерс заорал в бешенстве:

— А я позволю себе напомнить, что я не привык выслушивать замечания от грязных туземцев! Предупреждаю в последний раз.

При луне видно было, как незнакомцы снова отступили к двери, исчезли в темноте. Саммерс выжидающе сжимал рукоятку револьвера. Бетси шептала за спиной плачущим голосом:

— Джим. Зачем, зачем так? Гамаюн-Синг принят у его светлости. Тот, другой с ним, француз, я узнала, я видела его сегодня в ложе калькуттского резидента. Это профессор Нуар. Ах, ты наделал глупостей.

— Самая большая глупость та, что я связался с тобой и с этой глупой поездкой! Ты намереваешься остаться здесь на ночлег?

Он продел руку под локоть женщины, почти грубо потащил её через двор, по коридору, и усадил в экипаж.

Вскочил в седло, рванул бока шарахнувшегося пони шпорами. «Электрик» зажужжал передачей. Женский голос тревожно окликнул:

— Джим, ради Бога. Ты говорил сегодня серьёзно?

Англичанин ничего не ответил.

Впереди тускло мигнул красным глазом задний фонарик машины.

Невысокий брюнет с вьющимися усами, с густой шапкой волос, подёрнутых сединой, улыбнулся одними глазами, сказал негромко:

— Мне кажется, я понимаю Дину Николаевну.

Девушка сидела в шезлонге, кутаясь в белый фланелевый халатик, поправила костяной нож, выпавший из свежесрезанной книги, вскинула на говорившего немного удивлённый, недоверчивый взгляд. Брюнет подтвердил:

— Я привык к Индии, сжился с ней. Но перед отъездом у меня постоянно такое чувство, будто я ухожу из театра. Декоративные краски, сочетания, лубочная луна, фонари звёзд, эти растения, смахивающие на живые существа... Теперь у нас пожелтели берёзы, рябину подрумянило морозом.

Девушка повернулась к зелёной стене олеандров, вздрагивавших под каплями дождя, сказала сердито:

— Вы, кажется, хотите, чтобы я в самом деле расплакалась?

Чистая сетка дождя отгораживала веранду от эспланады. Мутные контуры пальм шевелили листьями-перьями над скользкими лоснящимися стенами.

Тяжёлые выпуклые клубящиеся тучи, словно кипы хлопка, повисли над крышами, уродливые, мутные, рваные.

Не было отдельных капель дождя. Сплошная частая сетка воды связывала небо и землю. И, когда нависал мутный студень нового облака, сетка превращалась в сплошную стену воды. С воем метался ветер в переулке, тротуары тонули, улицы превращались в сплошные потоки и водопады, и вздувшаяся бурая спина священной реки одевалась пенистым белым кипящим плащом.

Председатель нефтяного треста, мистер Николай Смит, пыхнул сигарой, спросил дружелюбно:

— Да вы, дорогой мой, когда намереваетесь нас покинуть?

— Я пробуду в Бенаресе, пожалуй, ещё недели две. Но у меня масса работы. Надо привести в порядок все данные. Эпидемия, против ожидания, заглохла. Я обязан сделать доклады в Нанси и в Париже. К тому же я теперь совершенно один.

Девушка грустно наморщила брови.

— Да, вы один... Как всё это опасно! Вы простите меня, я ещё могу примириться со смертью вашей дочери, как это ни странно. Я слишком мало знала её. Притом она была так экзотична, так сказочна, так окружена ореолом таинственности, знаете — не от мира сего... Но Дорн. Словно сейчас его вижу. «Кха, кха»... Кашляет, гнётся, сутулый. У меня как-то не умещается в голове мысль, что он умер, что я не увижу его больше никогда.

Брюнет серьёзно сказал:

— Вы не увидите его никогда. И ни я, никто. А впрочем, как знать, мёртвые, говорят, иногда

возвращаются.

— В романах, — отозвалась девушка грустно.

Хозяин спросил из своего угла:

— Это тот самый длинный студент, который бывал у нас в третьем году?

Девушка перебила с неудовольствием:

— Ах, папа. Ты, кажется, способен запоминать имена только своих акционеров. В России у меня не было товарища ближе Дорна. Я забывала, что он мужчина.

— Светлая голова, — подтвердил брюнет. — Удивительная память, способность систематизировать. И притом скептицизм... Для этого мальчика не существовало авторитетов.

— Неужели действительно можно любить до такой степени? — сказала Дина задумчиво. — «Любовь до гроба»... Но убить себя из-за любви... Чувство к одному человеку может заполнить жизнь, да... Но исчерпать?

Собеседник чуть-чуть усмехнулся.

— Смотрите, Дина Николаевна. Здесь страна тысячи богов. Они подслушают, и бог любви отомстит вам когда-нибудь.

— Не боюсь! — Девушка привстала в шезлонге, заблестела большими серыми глазами. — Вот уж чего не боюсь! Если бы даже сейчас... — она запнулась и чуть-чуть покраснела. — Если бы я и влюбилась в кого-нибудь, даже полюбила серьёзно, что ж из этого? Если любимый человек умер, я буду страдать, мучиться, может быть, потеряю всякий интерес к жизни. Но обязанности у меня как у человека, как у члена общества останутся?

— Теория, душка, теория! В теории вы все рассудительны, а на практике... Вспомни-ка, ангел мой, где была твоя рассудительность перед обедом?

Девушка повернулась к отцу, не на шутку рассерженная.

— Вы, папа, лишаетесь голоса. После того, как вы обнаружили намерение выдать меня за одного из ваших маринованных англичан...

Брюнет мягко перебил:

— Дина Николаевна, я убеждён, что вы не поняли вашего батюшки.

— Спросите у него сами, — сердито отозвалась девушка. — Вы единственный русский в этом бутафорском городе, среди этих картонных людей. Я не хочу вас стесняться, я... привыкла к вам уже. Спросите его самого.

Хозяин беспомощно развёл руками.

— Прошу покорно. Дорогой мой, вы профессор и всё такое... Словом, авторитет для детей новейшей формации. Выскажите откровенно свой взгляд, делает ли отец преступление, приняв на себя миссию передать дочери предложение человека отличной семьи, человека вполне обеспеченного, человека, которого сам отец знает, дай Бог памяти, девятый год... Вдобавок с положением, на блестящей дороге. Да чего лучше — впереди ни больше ни меньше как пэрство Англии.

Учёный с ласковой, грустной усмешкой наблюдал лицо девушки. Та, возмущённо блестя

глазами, подхватила:

— Да, у него впереди пэрство. А что впереди для вашей дочери? — девушка по привычке добавила: «Сэр», сделала сердитую гримасу. — Что для неё впереди? Бритая физиономия «пэра», которую она с трудом переносит даже в качестве хозяйки дома? Обмен мнений по поводу биржевых операций, состязаний в поло, в гольф, в лаун-теннис? Перспектива выслушивать «schoking» в качестве представительницы нации менее культурной, чем будущий пэр. Наконец, перспектива остаться здесь навсегда. В этом отвратительном опереточном болоте, откуда я рвусь всеми силами на родину? И не перестану рваться никогда, слышите... Папа, папа, и вам не стыдно?

Профессор по-прежнему с улыбкой обратился к хозяину:

— Николай Дмитриевич, я плохой союзник. В таком вопросе я всецело на стороне вашей дочери.

— Ну вот...

— Я не разделяю ненависти Дины Николаевны к Индии. Что же касается представителей местного общества...

Девушка порывисто потянулась к нему со своего шезлонга, схватила за руку.

— Спасибо, большое спасибо. Вы не знаете, до чего я здесь одинока.

Сконфузилась за свой порыв, потянула руку назад, покраснела до самых ушей.

— Вот видите, эта Индия превратила меня в истеричку.

Профессор долгим взглядом поглядел на смущённое личико девушки, бережно выпустил тонкую руку, сказал сдержанным тоном с чуть заметной, странно печальной усмешкой:

— Успокойтесь, Дина Николаевна. Я не придам вашему волнению иного объяснения.

Хозяин поднялся со своего кресла, несколько раз нервными шагами прошёлся по веранде. Сказал полшутливо, полураздражённо:

— Всё это проклятый дождь. В такие дни я и сам сразу старею на тридцать лет. Свети до обеда солнце, моя радикалка была бы сговорчивее.

— Вы так думаете? А я отдыхаю во время дождя. Ничто меня так не раздражает, как ваше глупое индийское солнце. Сухое, тяжёлое... Какой-то нарывной пластырь.

— Мне кажется, вы увлекаетесь немножко в своей ненависти к Индии, — отозвался профессор, на этот раз серьёзным тоном. — Вы мешаете вашу антипатию к индийским колонистам с отношением к туземцам, которых вы почти не видали близко.

— А мне кажется, вы сами неискренни в своей защите. Что может вас привлекать к стране, где поколения завоевателей воспитали поколения рабов? Ведь каждый из ваших любимцев-индусов — раб. Он привык, чтобы его били то магометане, то белые, привык к тому, что собственные его братья, на касту выше, смотрят на него как на собаку, мирится с тем, что его, хозяина страны, англичанин не пускает в порядочный клуб, словно негра в Америке...

Профессор перебил с мягкой улыбкой:

— Дина Николаевна, вы увлекаетесь.

— Нисколько! Где оправдание этой потери самосознания? После восстания сипаев, после отвратительных зверств, достойных башибузуков, чем проявили себя ваши хвалёные индусы?.. Посылками с начинкой из динамита в редакции английских газет?

— Дина Николаевна! Вы плохой историк, настолько плохой, насколько пристрастный. Я и спорить с вами не буду.

— Да, потому что не можете.

Профессор весело рассмеялся.

— Николай Дмитриевич. Я перехожу на вашу сторону. Дождь оказывает на вашу дочь несомненное влияние. В самом деле, вы, очевидно, не подозреваете, Дина Николаевна, как далеки вы от истины в ваших обвинениях.

Девушка махнула разрезным ножом.

— Это голословно, сэр.

— Ничуть. Вы назвали рабом народ, создавший культуру, к завоеваниям которой только подходит современная наука. Вы назвали рабом народ, выливший своё мировоззрение в Риг-Веде, отголоски которой наука слышит на протяжении тысячелетий во всех углах земного шара. Дина Николаевна, вы же сами избрали специальностью историю, вы человек с высшим образованием.

— Что же из этого? Моё образование помогает мне лишь заметить, что вы переоцениваете роль Индии в истории человеческой культуры.

Учёный порывисто поднялся со своего места, сел снова, сказал, видимо сдерживаясь:

— Если бы я относился к вам иначе, я не продолжал бы такого разговора. Но я не хочу верить, что ваш ум так исчерпывающе удовлетворяет одобренные министерством руководства истории. В России мы не раз встречались с вами в Публичной библиотеке. Помните? Помните, как вы часами сидели за крайним столом, у окна, ваше постоянное место? Я видел, вы получали из отделения классиков, — значит, вас не удовлетворяли руководства. Наконец, мне говорил о вас Дорн.

— Ах, Дорн... С тех пор как он обманул меня, оказался таким же, как все, я потеряла веру в историю. Бог с ними, с вашими ведами, памятниками, с Индией, с умершими культурами! Если я верю во что-нибудь, так только в жизнь и в живое дело. Папа, мой ультиматум: если вы не хотите ехать на родину, я уеду одна. Вы возьмёте меня с собой, Александр Николаевич?

— Охотно! — Профессор улыбнулся. — Но ведь я сам не знаю, когда попаду в Россию. Сейчас я еду в Нанси.

— Это безразлично. Франция — почти дома. Оттуда я доеду одна. Папа, слышите?

— Слышу, мой друг, слышу.

Хозяин покачался на каблуках, внезапно с лукавым видом прищурил глаз.

— Слышу. И слышу ещё кое-что. Слышу, что у подъезда стучит чей-то мотор, тот ли, который ты просила меня доставить на вокзал? Слышу даже, как шлёпает туфлями твоя дуэнья, очевидно, спешит с докладом... Впрочем, тебя это всё не касается. Ты отправляешься укладываться?

Девушка порывисто вскочила с шезлонга, прижала книжку к высоко поднявшейся груди, покраснела так, что слезы на глаза навернулись. Смущённо, по-детски, метнула взглядом в сторону гостя, сказала, напрасно стараясь сдержать в голосе дрожь:

— Папа. Зачем...

Смуглая хорошенькая тамулка, с большими, будто испуганными, глазами, стройная, грациозная той дикой грацией, что отличает обитателей Малабарского берега, принесла подносик с визитной карточкой, переступала маленькими бронзовыми ножками в плетёных бабушах, вопросительно поглядывала на взволнованное лицо молодой хозяйки.

Председатель нефтяного треста, пощипывая седую бородку, взял узенький листочек пергамента, вооружил нос пенсне, принялся разбирать шрифт по складам, усиленно морща переносье.

— Гастон Дю-тру-а. Инженер-электрик. Хо-хо... инженер! Кто бы это мог быть? Диночка. Ваше мнение? Принять или просить в другой раз?

Девушка шла уже к двери, прелестная в своём смущении, с пылающими щёками, с глазами, сразу зажжёнными радостным нетерпением.

Торопливые шаги раздались в коридоре, простучали по паркету столовой, замерли на мягких циновках веранды. словно сама молодость ворвалась на веранду с этой невысокой стройной фигурой в измятом чесучовом костюме, с шапкой непослушных спутанных золотистых кудрей над чуть побледневшим с дороги, свежим безбородым лицом.

Хозяин стоял у порога. Кресло профессора перегораживало дорогу. Но глаза нового гостя смотрели мимо с выражением гипнотика, и остановился он не раньше, чем ощутил в своих руках протянутые ему навстречу тонкие ручки хозяйки, не раньше, чем перецеловал их по нескольку раз.

Председатель нефтяного треста косился на сцену с улыбкой, немножко кислой, с выражением примирившегося с печальной необходимостью.

Профессор чуть прикрыл веками тёмные глаза, и мягкая добродушная улыбка странным контрастом оттенила побледневшие щёки, вздрагивающий мускул у самых губ.

— Папа, ты не предупредил меня. — Девушка наконец отняла свои руки, спрятала под длинными ресницами глаза.

Новый гость, блестя ослепительными зубами, всё кругом наполняя молодой счастливой улыбкой, бросился к хозяину, затряс его руку, сказал чуть сиплым ломающимся голосом:

— Николай Дмитриевич, ради Бога, простите. Я идиот, я совсем не заметил, я... я увидел Дину Николаевну и вообще... вы на меня не сердитесь?

Председатель, обезоруженный натиском молодой радости, дружелюбно обнялся с приезжим, поцеловался крест-накрест.

— Ну да что уж. С вас взятки гладки. Поздравляю, поздравляю. Инженер?

— Давно. Я представил дипломные проекты ещё в апреле. Задержали формальности. В Чикаго я опоздал, экзаменов предельный комплект. Держал в Нью-Йорке. Господи, неужели глаза меня не обманывают? Александр Николаевич, доктор?

— Не обманывают, не обманывают, — учёный поднялся со своего места, крепко пожал руку нового гостя. — Здравствуйте, милый. Со своей стороны, от души поздравляю.

— Дина Николаевна, вы не знаете... нет, знаете. Ведь если бы судьба не столкнула меня с доктором, я никогда бы вас не увидел. Ну, не буду, не буду... я совсем одурел. Умыться? Я умылся на станции. Чаю? Не хочется. Ах, это другое дело, только со льдом, со льдом.

Дина хлопотала уже за столом, звенела посудой. Инженер чуть не опрокинул стакан с толчёным льдом, обрызгал соседа из сифона, поминутно скашивал глаза в ту сторону, где белел халатик хозяйки.

— Страшно боялся опоздать. В Аллагабаде держали четыре часа, размыло мост. Почти не спал... Нет, я сел в Сан-Франциско, на «Калифорнию». Сегодня с утра замучили англичанки, одна другой старше, страшные, вот с такими зубами... Кстати, сейчас столкнулся на вокзале с этим мистером. Помните, с каким я ругался в третьем году, во время состязаний? Он, кажется, тоже меня узнал, скрутил этак губы. Ну да чёрт с ним... Ой, простите, ради Христа. Совсем отвык от общества за два года.

— Ну а как дела вообще? — осведомился хозяин. — Есть что-нибудь определённое? Заручился местом?

Юноша разом погас, — смущённо повернулся, ответил, спрятав глаза от хозяйки:

— Стыдно, ой стыдно признаться, пока ещё нет. Но ведь это теперь пустяки, диплом в кармане. Я уже успел завязать кое-какие связи. Мне предлагали остаться у Стивенса пока на триста долларов.

— Ну и за чем остановка?

Инженер смущённо покрутил головой, промычал неопределённо, отозвался нехотя:

— Так, знаете... не сошлись. Дело в том... в том, видите ли, дело, что этот старикашка Стивенс требовал немедленного ответа. У него ушёл старший мастер при трансформаторе. Ну и... Словом, пришлось бы немедленно вступить в должность.

Председатель укоризненно покачал головой.

— Ай, ай, ай! Деловой человек, инженер. Хороший дебют.

Юноша покосился в сторону хозяйки, должно быть, нашёл поддержку, бодро встряхнул копной спутанных кудрей.

— Пустяки. Это ничего не значит. Нет, ей-Богу, Николай Дмитриевич, это пустяки. У меня ещё цело больше трёх тысяч, хватит на два года, по крайней мере. За это время тысячу мест можно найти. В крайнем случае возьмусь за прежнее ремесло. Место инструктора в Лос-Анджелесе к моим услугам, когда угодно.

Молодая хозяйка сердито зазвенела посудой, перебила:

— Василий Андреевич! Вы, кажется, забыли своё обещание?

— Кто? Я? Ах, насчёт авиации. Дина Николаевна, я же так, в принципе, если за два года не сумею устроиться прочно. Ведь это же невозможно.

— Отчего бы вам не вернуться в Россию? — негромко выронил доктор.

— В Россию? Но вы же знаете мою глупую выходку, доктор. Кроме того, это значит снова держать экзамены, возиться с проектами. Да и отвык я от нашей формалистики.

— Нет, вы меня не поняли, — возразил учёный. — Я не имел в виду советовать вам начинать

сызнова вашу карьеру. Почему бы вам не вернуться в качестве инженера Гастона Дютруа? Разве мало в России заводов французских компаний, бельгийских, английских?

— Александр Николаевич, вы извините меня. Это жестоко. Где я возьму знакомства, связи?

Глаза доктора осветились привычной грустной улыбкой. С минуту он молчал, поглядел в сторону Дины. Та ловила теперь каждое слово, отодвинула недопитую чашку, напряжённо подавшись в сторону говорившего, вздрагивала забытой в руке на весу чайной ложечкой.

Доктор сказал медленно, раздумывая:

— Знаете что: мне кажется, это не так трудно устроить. Кое-какие связи у меня, пожалуй, найдутся. Я почти убеждён... Да вы вот что. Загляните ко мне как-нибудь на днях, я пробуду в Бенаресе недели две. До чего-нибудь, возможно, договоримся.

Доктор снова улыбнулся в сторону хозяйки, настойчиво перебил её, порывавшуюся что-то сказать:

— Дина Николаевна, я без церемонии... Попрошу ещё чашечку. Кстати, вы так и не попали на гастроли русского балета?

Хозяин откинулся в кресле, сердито терев бородку, делал доктору выразительные знаки глазами. Потом порывисто встал, походил мимо стола, приняв, должно быть, какое-то решение, махнул энергично рукой. Остановился за креслом приезжего, тяжело уронил на плечо его руку.

— Вот что, вы, инженер, авиатор, мореплаватель и всё такое, пейте чай, шерри, отъедайтесь, отдыхайте и, между прочим, через полчаса загляните ко мне в кабинет.

Дина, снова залившаяся румянцем, перебила умоляюще-тревожно:

— Папа...

— Сиди, сиди, матушка, нечего... Бог с вами, в рай дубиной не гонят. Хотите сходить с ума — сумасшествуйте. Нынче всё кверху ногами. Да не бойся, не съем я его.

Председатель вытащил платок, высморкался, мимоходом махнул по заблестевшим глазам, двинулся к двери, спохватился, сказал доктору:

— Александр Николаевич, батенька. Плюньте на них, видите, ненормальные. С ними с тоски умрёшь. Айда ко мне в кабинет. Какие мне регалии с Кубы прислали! Язык откусите, уверяю вас!..

Доктор поднялся из-за стола, улыбаясь, ответил:

— В другой раз с наслаждением. А сейчас пора. Занят весь вечер. Дина Николаевна, мой сердечный привет и пожелания. Вы, товарищ, заглянете, стало быть?

Доктор вместе с хозяином пошёл было с веранды. В дверях повидался с маленьким смуглым молодым человеком в ослепительно белом жилете под безукоризненным смокингом.

Франтоватый человечек, выронив монокль, приложился к ручке хозяйки, с дружелюбным изумлением развёл руками при виде приезжего:

— Ah, ba! Basile, mon vieux![1]

Спохватившись, крикнул вдогонку хозяину уже переступившему порог:

— Мсье ле шеф! Один момент!

Принялся рыться в бумажнике, усыпанном монограммами, мухами, золотыми скрипичными ключами. С треском развернул свежераспечатанный телеграфный бланк, сразу переменял голос на тон «при исполнении служебных обязанностей»:

— Прошу извинить. Только что передана в контору. Подана в Аллагабаде, час семнадцать. Подпись нашего агента.

— В чём дело, Шарль? — председатель взял из рук секретаря депешу, оседлал нос вилочкой пенсне. Заметно вздрогнул. Перечитал снова вполголоса: — «Клиент Абхадар-Синг тяжком положении доставлен евангелическую лечебницу. Признаки отравления, укушения пресмыкающимся. Гемфри Уордль»... Абхадар-Синг?

Секретарь неукоснительно подтвердил:

— Талукдир Абхадар-Синг. Номер двадцать девять. Условные и специальные счета. Приказ на Сименса и К°. Металлическая наличность до...

Хозяин перебил тревожно:

— Немедленно протелефонировать Уордлю запрос о состоянии здоровья. Принесите в кабинет книги. Да... Немедленно срочную в Палембанг через кабель, затребовать сведения о числе рабочих из Виндии, с последним рейсом включительно. Больше телеграмм не было?

— Пока нет. Уордль, конечно, ждёт дальнейшего. Всё, очевидно, благополучно.

Приезжий гость оторвался от разговора с хозяйкой, схватился за боковой карман, зашуршал газетным листком.

— Как, как? Абхадар-Синг?.. Так об этом уж было в вечерней. На станции. Дай бог память... Ну да, вот. «Агентская. Аллагабад, 2 ч. 30 м. Смерть миллионера... Скончался, при картине отравления рыбным ядом, популярный землевладелец, член законодательного совета, талукдир Абхадар-Синг, доставленный в больницу евангелической общины из поместья Манвантар-Бунгало. Здоровье супруги покойного, также подвергшейся отравлению, не внушает пока опасений. Покойный — последний представитель... Скончался семидесяти двух лет. Состояние оценивается...» Николай Дмитриевич! Этот самый?

VI

Доктор открыл переднее окошко, кинул несколько слов на странном шипящем немом языке.

Шофёр мотнул капюшоном, показал на минуту скуластое пергаментное лицо с косо прорезанными узкими глазами, круто повернул маховичок руля.

Автомобиль с шипом взрезывал воду, оставлял по сплошь залитому бульвару, словно моторная лодка, длинный пенистый след.

Дождь перестал на минуту.

В прорехи почерневших клочковатых туч пряталась бледная мертвенная зимняя луна. Окуналась в воду белым пятном среди жёлтых дрожащих дорожек фонарей и окон, извивалась, дрожала и тухла. И мокрые веники пальм, и тускло-металлически блестящие

спины свежеемытых листьев лавровых и восковых деревьев, и понурые фигуры сипаев в непромокаемых плащах — всё потеряло облик и цвет, приняло тусклый погребальный оттенок.

Изредка автомобиль, гоня перед собой гору пены, выносился из переулка, ревел сиреной, показывал мягкую шёлковую обивку кареты, чьё-нибудь чисто выбритое лицо над ослепительным пластроном, закутанную вуалем головку, розовый бархатный зев орхидеи в бутоньерке у окон, снова окунался в мокрую скользкую тьму навстречу разноцветным глазкам еле ползущего трамвая. Тяжёлый, восьмидесятисильный «бенц» обогнал доктора.

Свернул на шоссе, порывисто заквакал, требуя, чтобы открыли ворота.

В окнах зачастили железные столбики садовой решётки, стриженная щетина живой ограды.

С мягким шипом шины пошли по сырому гравию. Шофёр двинул кулисой, затарахтел тормозом. Доктор распахнул дверцу, ступил из кареты прямо на обсохшие ступени огромной террасы.

Там, наверху, в дверях ярко освещённой веранды, силуэтом чернели фигуры обогнавших доктора на тяжёлом «бенце». Тонкая перетянутая женская фигура и мужчина во фраке с перекинутым через руку пальто.

Женский голос, немного тусклый, немного натянутый, какой бывает у дам, осуждённых на исходе четвёртого десятка подписываться «мисс» или «мадемуазель», приветствовал кого-то по-английски, осведомлялся о здоровье. Силуэты благодарили.

Хозяйка пропустила гостей на веранду, пригляделась вниз, в темноту, быстро сбежала на несколько ступеней.

— Доктор... это вы? Боже, я так боялась, что вы не приедете.

Приезжий учтиво ответил на порывистое рукопожатие хозяйки, сказал спокойно:

— Разве у вас были какие-нибудь основания, мисс? Я всегда относился к обществу серьёзно, насколько мог.

— Ах, знаю, знаю! — Хозяйка позволила продеть под локоть доктора свою тонкую руку. Тяжело навалив на него своё костистое тело, потащила по ступеням. — Я знаю, что вы... Но они все страшно предубеждены против вас. Они намерены требовать отчёта. Можете себе представить? Чего мне стоило убедить их пригласить вас на это заседание. Они намеревались направить вам делегатов с директивами.

Доктор усмехнулся, поглядел на лицо хозяйки, поблекшее, обильно подправленное пудрой, с испуганной складкой полных губ, натянутых на большие желтоватые зубы. Сказал с выражением крайнего изумления:

— Отчёта? От меня? Но разве я принимал на себя какие-либо обязательства? Я убеждён, что вы не так поняли ваших собратий, мисс Меджвуд.

Пожилая мисс ещё интимнее придавила к боку гостя свой костистый локоть, прошептала замирающим шёпотом:

— А это всё он, махатма. И с ним полковник. Ах, доктор, подождём, подождём здесь, на террасе, я должна предупредить вас подробнее.

Доктор перебил мягко, не останавливаясь, настойчиво втаскивая на последнюю ступеньку костистое туловище хозяйки:

— Дорогая мисс Меджвуд! Я бесконечно вам благодарен. Но теперь поздно, я подъехал одновременно с кем-то другим. Ваши друзья заметят ваше отсутствие. Вы только рискуете повредить... Хотя решительно себе не представляю, в чём дело, почему ваше общество так встревожено?

Доктор решительно повлёк хозяйку к дверям, пропустил в вестибюль, тотчас за ней очутился на заплетённой густой сетью лиан, уставленной пышными олеандрами веранде.

Молочно-белый матовый полушар прятал электрическую люстру в центре потолка, и мягкий спокойный свет разогнал по дальним углам тонкий сумрак теней. Тёмный пушистый одноцветный ковёр прикрывал пол посередине, а плетёные кресла, шезлонги, диваны были разбросаны вдоль зелёных, вздрагивающих листьями стен, прятались за живым трельяжем олеандров, вместе с плетёными столиками группировались в уютные уголки. Бронзовая рука дворцевого притворила за гостем тяжёлую дверь, кто-то, в перчатках и фраке, с лицом атташе дипломатического корпуса, крикнул в пространство сухо и строго, словно досадуя на невозможность прибавить витиеватый титул:

— Э-э... Доктор Тшерни!

Новый гость огляделся. Почти все кресла веранды были заняты. Ближе всех, спиной к входу, только что приехавшая пара — он во фраке, она, высокая, стройная, с белоснежным песцовым боа на плечах, обменивались приветствиями с пожилой полной дамой с крупными чертами лица, с шапкой седых, по-мужски подстриженных и зачёсанных волос.

Рядом с дамой маленькая хрупкая детская фигурка в туземном костюме. Доктору бросилось в глаза смуглое, будто истомлённое, не детски серьёзное лицо с огромными глубокими лучистыми глазами. Он с интересом задержал взгляд на этом лице.

С другого конца веранды к гостю уже спешил приземистый жилистый человек с большой бритой челюстью, с чуть вывернутыми голеньями, свободно болтавшимися в широких чесучовых штанах.

Человек в чесучовом костюме энергично встряхнул руку нового гостя, щёлкнул при этом каблуками, должно быть по старой военной привычке. Сказал тонким и сладким голосом, плохо вязавшимся с наружностью:

— Дорогой брат. Я так счастлив, что могу наконец приветствовать вас вместе с другими братьями.

— Здравствуйте, полковник, — просто отозвался прибывший. — Рад, что доставил вам удовольствие.

Доктор обменялся молчаливым поклоном с обогнавшей его у подъезда парой. С видимым уважением поднёс к губам руку полной женщины со стриженной седой шевелюрой. Снова с интересом остановил взгляд на смуглом лице подростка в туземном костюме.

— Это Джек, сэр, — сказала седая дама. — Вы его ещё не видали?

Подросток поднял свои огромные чистые глаза, сказал тихим серьёзным голосом, протягивая тонкую руку:

— Вы доктор Чёрный, сэр? Я читал вашу работу о вымирающих расах. Я хотел кое о чём расспросить самого автора.

Дама с седыми волосами перебила ревниво:

— Джек, ты спрашивал полковника и профессора Шнейдера в Адьяре. Я убеждена, что они

солидарны с автором.

— Всё-таки... — нерешительно начал подросток, бросил взгляд на омрачившееся лицо пожилой дамы, тотчас умолк, чуть улыбнувшись глазами взрослого.

Хозяйка снова продела локоть под руку гостя, подвела к даме в песцовом боа, лепетала, обнажая чудовищные зубы:

— Вы ещё не знакомы? Ах, сэр, нельзя же ждать, пока дама первая спросит. Эме, пристыди сама этого дикаря.

Высокая дама в песцовом боа приветливо улыбнулась, блеснув влажными перламутровыми зубами, сказала низким контральто:

— Я так много слышала о вас, профессор. — Дама перешла на французский язык. — Вы и не подозреваете, как я вас знаю. Я была дружна с милой бедной... с вашей дочерью. Ну да, мы товарки по Сорбонне. Я даже была у вас на квартире... в ваше отсутствие, вы уезжали в Россию.

Грустная тень на минуту прикрыла лицо учёного. Голос чуть-чуть дрогнул.

— Друзья моей бедной Джеммы — мои друзья, мисс. Впрочем, вам, вероятно, известно...

— Что Джемма приёмш? Да, бедная девочка говорила сама. Но она относилась к вам, как к родному отцу. Папа, идите скорей, я вас познакомлю.

Бравый стройный старик, с низко стриженной серебристой щетиной на круглом черепе, с плотно приклеенной к нижней губе седой эспаньолкой, быстро повернулся к дочери, сверкнул кровавым бутончиком орденской ленточки на лацкане фрака, кинул вопросительно, жаргоном:

— Tiens?[2]

— Ра-ра! Доктор Чёрный профессор; помните, вы мечтали познакомиться. Доктор, мой отец был влюблён в бедную Джемму.

Старик с эспаньолкой крепко пожал доктору руку, сверкнул жёлтыми выпуклыми глазами, сказал хриплым баском:

— Cher maitre,[3] свидетельствую глубочайшее уважение. Давно желал, давно... А насчёт вашей дочери... Вы меня извините, не понимаю. Отказываюсь понимать. Простите, вам тяжело вспоминать, понимаю. Но... такой цветок, такая жестокость. Будь я на вашем месте, я не успокоился бы, пока не нашли негодяев, не привязали поясницей к дулу полевого орудия. Вы меня извините. А вы, говорят, ходатайствовали сами.

Доктор печально улыбнулся. Сказал, обращаясь больше к даме:

— Разве помогло бы мне это вернуть Джемму к жизни? Что же касается возмездия — вы можете верить мне на слово, — оно не коснулось бы настоящих виновников.

Смуглая дама в песцовом боа потрясла старика за лацкан.

— Ра-ра! Как вам не стыдно? Око за око? Разве вы не член нашего общества? Что скажет полковник, что скажут братья?

Старик отмахнулся сердито:

— А ну тебя с твоим обществом, с братьями. Надоела мне эта комедия пуще... Вся в мать.

Эта ваша британская закваска.

Плачущий вздрагивающий голос гонга вспыхнул в конце веранды. Коренастый крепыш в чесуче, с вывернутыми ногами, пропел сладким голосом:

— Леди и джентльмены! Возлюбленные братья и сестры! Позволю себе пригласить всех вас в зал заседаний.

Задвигались плетёные кресла, зашаркали ноги по циновкам. Стриженная седая дама с видом наседки, оберегающей цыплят, двинулась за смуглым мальчиком в туземном костюме. Рядом с ней выросла фигура в белом тюрбане, со сморщенным тёмно-коричневым лицом, с острыми огоньками спрятанных под складками кожи глаз.

Доктор предложил руку новой знакомой.

Её отец повлёл вперёд костлявую хозяйку, та поминутно обертывалась к доктору, с видом заговорщицы стягивала губы с жёлтых зубов. * * *

Эту круглую комнату слишком громко называли залом. Скорее на часовню, на капеллу смахивал её купол, её выложенные белым мрамором, стены с прямолинейным рисунком несложных орнаментов, с тонкими контурами позолоты.

Трудно было определить, как освещается капелла днём, — не было видно окон, быть может, они были замаскированы. Тот же матовый мягкий молочный свет, что был на веранде, вспыхнул под куполом в тот момент, как коренастый полковник в чесуче распахнул с видом церемониймейстера входные двери.

Долго рассаживались в креслах, низеньких, полукруглых, с твёрдым лакированным сиденьем, с подлокотниками того же белого дерева под политурой.

Сдвинуты кресла были концентрическими рядами, амфитеатром.

Полковник занял трибуну, щёлкнул выключателем, и сзади него, на стене, вспыхнуло семь огоньков, будто в самой облицовке зажглись.

Хозяйка усиленно кивала через два ряда кресел новой знакомой доктора. Что-то шипела сдавленным шёпотом.

Старик с эспаньолкой, с ленточкой Почётного легиона, скептически скручивал губы. Было много офицеров, ещё на веранде отстегнувших свои палаши. Офицеры сидели, напряжённо выпятив груди, играя бритыми скулами, аккуратными котлетками бакенбард.

Молодёжь — лейтенанты украдкой косились в сторону скромных причёсок, набожно опущенных ресниц, бледных выгнутых шеек, группировавшихся ближе к трибуне.

Полковник с вывернутыми ногами стукнул семь раз молоточком по пюпитру, сказал значительно:

— Возлюбленные братья. Объявляю собрание открытым.

Полковник поднял правую руку с видом регента, наклонил голову набок, уронив бритую челюсть, начал нараспев тонким и жидким фальцетом:

— Учитель, я жду твоей речи...

Большинство довольно нестройно подхватило на разные голоса:

— Ловлю, где блеснет скрытый свет...

Кривоногий полковник с вдохновенным видом отбивал такт в воздухе рукою. Бледные мисс стонали, прикрыв загнутыми ресницами глазки. Офицеры подтягивали бодро; пожилой капитан, зверски напряжив жилистую шею, воткнув в пол остановившийся взгляд, басом пытался аккомпанировать в терцию.

Бархатное контральто новой знакомой доктора, звучало настоящим подъёмом. Девушка встретила взглядом с глазами доктора, чуть вызывающе тряхнула тяжёлым узлом пышных волос, ещё звучнее выделила голос из общего хора.

Полковник поперхнулся, щёлкнув челюстью, жадно отпил из стакана. Долго не мог прокашляться.

— Слово принадлежит... — полковник почтительно раскланялся с седой стриженной дамой. Та долго говорила о женском движении, о правах женщины.

Бледные щёки мисс на передних скамейках загорелись румянцем, чудовищные зубы костлявой хозяйки совсем перестали закрываться бескровными губами, и доктор сочувственной улыбкой встретил загоревшийся взгляд новой знакомой.

Стриженная дама переменяла тему. Сообщила, что библиотекой в Адьяре сделано ценное приобретение — список первых двух стихов Атхарва-Веды, отнесённый профессором Шнейдером к девятому веку до Рождества Христова, купленный случайно с разным хламом на аукционе имущества покойного доктора Питбери. Почтенный миссионер, должно быть, не подозревал, какое сокровище хранится в его библиотеке. Потом стриженная докладчица сделала паузу. Тревожным взглядом окинула своего худенького питомца в туземном костюме, представила его собранию как автора только что вышедшей религиозно-нравственной книги.

Вундеркинд внезапно поднялся, расширил свои печальные глаза, глаза много пережившего взрослого человека, сказал застенчиво:

— Это не мои слова. Это слова учителя. Без него я ничего не мог бы сделать, но с его помощью я вступил на путь...

Стриженная дама перебила с любящей материнской улыбкой, кивнув в сторону вундеркинда:

— Мы имеем мысль учителя, облечённую в слова ученика. Пропущенные изречения восстановлены учителем. Всё остальное принадлежит ему, Джеку. Это его первый дар миру. На мою долю, как старшей, выпала честь написать несколько слов введения и в двух случаях добавить пропущенное слово.

Седой кавалер Почётного легиона фукнул в эспаньолку, под сурдинку пробурчал:

— В бочку мёду ложку дёгтю. Двумя словами испакостили всю книгу. Дорогой мастер! Вы изволили обратить внимание?

— Насчёт вивисекций? — доктор утвердительно кивнул головой.

Кавалер сочувственно покосился в сторону смуглого ребёнка:

— Поразительная глубина мысли. Мальчишка феномен. Только замучают его эти мироносицы.

На трибуне появился белый тюрбан. Сморщенное коричневое лицо старика беспокойно подёргивалось, маленькие глазки вспыхивали тревожным огнём.

Старик поднял костлявую руку, призывая ко вниманию, сказал шамкающим мёртвым беззвучным голосом:

— Возлюбленные братья! Учитель шлёт вам привет через меня, недостойного.

Старик сделал паузу, внимательно нащупывая колючим взглядом лица окружающих, должно быть проверяя впечатление. Потом снова зашамкал:

— Возлюбленные братья! Мы собрались здесь во имя учителя. Есть среди нас озарённые святым его светом, есть и те, что стучатся, что не вступили ещё на путь. Возлюбленные братья, четыре качества необходимы для нашего пути, и первые из них — распознавание и... — старик выдержал паузу, — и отсутствие желаний. Возлюбленные братья, последнее качество не может не требовать от ищущего прежде и паче всего развития чувства дисциплины и солидарности. Только слив наши стремления воедино, мы можем надеяться достигнуть того, что обещано нам учителем. Возлюбленные братья! Спрошу вас, что делает брат, нарушающий это насущнейшее из предписаний учителя?

Никто не ответил. Старик долго водил колючими глазками по рядам, спросил снова:

— Не подрывает ли он основ братства? Не враг ли он общества ищущих, в среду которых он втерся с целью, известной ему одному...

Старик открыл уже рот продолжать. В первых рядах родилось внезапное движение. Хозяйка с ужасом закатила водянистые глаза. Офицеры переглянулись с интересом. Эме де Марелль взволнованно сжала руку отца, бросила в сторону встревоженный, сочувственный взгляд.

А в той стороне неторопливо поднялась с кресла стройная невысокая фигура с бледным лицом, с шапкой серебром подёрнутых тёмных кудрей, и спокойный твёрдый негромкий, но чётко по тишине прозвучавший голос, голос того, кого называли доктором Черным, произнёс:

— Оратор имеет в виду, очевидно, меня. Попрошу оратора формулировать свои обвинения более определённо.

VII

Старик не был подготовлен к такому ответу. Слова застряли у него в горле. С растерянным видом, забывши закрыть разинутый рот, обернулся с трибуны, ища поддержки.

К трибуне спешил полковник. Перекинулся с оратором торопливыми фразами, занял его место и, отпив из стакана, осклабил любезной улыбкой чудовищную челюсть. Пропел сладким голосом:

— Да позволено мне будет выполнить требование уважаемого брата. — Полковник качнул челюстью в сторону доктора Чёрного. — Выполнить его столь категорически заявленное требование касательно э... э... э... скажем, обвинений, которые вынуждено выдвинуть против него наше общество. Во-первых...

Полковник утвердил на пюпитре локоть, медленно растопырил пятерню и загнул волосатый палец.

— Во-первых... На каком основании уважаемый брат считает возможным помещать в своих специальных, но обще-до-сту-пных, — полковник значительно поднял палец, — трудах сведения, которые общество открывает при посвящении под условием абсолютной тайны?

— Именно?

— Но я выражаюсь, кажется, достаточно ясно. Сведения, обусловленные тайной. Среди нашей аудитории не мало ищущих. Преждевременно будет посвящать их в подробности здесь, в простом собрании.

— Почему же? Вы только что сказали, что сведения эти изложены мною в популярных руководствах. Дело сделано — каждый из ищущих может ознакомиться с ними.

Полковник сердито подвигал челюстью.

— Отлично. Вы сами усугубляете своё деяние, требуя повторения тайн, вами разглашаемых. Что вы скажете по поводу вашего труда о вымирающих расах, где вы даёте ключи к уразумению скрытой истории человечества, о цифровых ключах к апокалипсису и первой книге Моисея, наконец... — голос полковника пропитался искренним ужасом. — Наконец, о тех данных, которые вы открываете профанам о первобытных письменах отжившего человечества?

Полковник вперил острый сверлящий взгляд в лицо обвиняемого. Доктор спокойно ответил:

— Моя работа о вымирающих расах результат чисто научных исследований в области антропологии и серия различных опытов с некоторыми породами человекообразных обезьян. Мне кажется, лучшим ответом на ваше обвинение служат выводы той же работы. В них я далеко расхожусь с вашим представлением о непогрешимости данных.

Полковник перебил страдальческим голосом:

— Попрошу, попрошу уважаемого э-э... брата не касаться...

Доктор продолжал с лёгкой улыбкой:

— Хорошо, оставим. Перейдём к следующему обвинению. Но я недоумеваю даже, что мне ответить. Вы говорите о цифровых ключах. Но вам должно быть известно не хуже меня, что любому габраисту доступны даже такие сложные ключи, как Гематрия, Нотарикон, Аик-Бекар, таблица Цируфа. Я же позволил применить к библейскому шифру простейший ключ — приведение к однозначной цифре сложением то, что носит имя «сокращения» нашего общества.

— Ах, вы признаёте, что именно «нашего общества»?

— Признаю. Но при этом утверждаю, что общество совершенно произвольно приписывает себе исключительное право на этот ключ. С ним оперировали ещё в Вавилоне, в Египте и в Греции. То обстоятельство, что символы апокалипсиса, включая таинственное «звериное число», раскрываются этим ключом, — лучшее доказательство того, что ключ этот был известен автору откровения.

Полковник хотел возразить, но спохватился, выжидательно стиснул губы.

— Третье обвинение — письмена первобытного племени. Но разве другие исследователи не обращали внимания на то, что таинственные иероглифы на самой вершине скал Уади Сипайского полуострова, начертанные выше других, уже разобранных, не имеют ничего общего с арамейскими, куфическими письменами. Разве не обнаружено в них начертание символа, которым арийцы изображали огонь? Разве десятки экспедиций не дали нам изображений таких же таинственных знаков, начертанных чьей-то рукой на самых недоступных вершинах голых каменных скал великих Сибирских бассейнов? Разве исследователи следов таинственной погибшей культуры на островах Воскресенья, Помоту, Тонга не обнаружили тех же начертаний?

— Предположим... Однако именно вам, дорогой брат, никому иному, принадлежит честь

сопоставления этих открытий, честь столь остроумных догадок?

Доктор возразил по-прежнему спокойно:

— Догадка может родиться в уме любого исследователя. Но я сам не хочу отрицать, что двигателем моей работы было желание навести на путь именно этих догадок...

— Ах, значит, вы сами признаёте...

— Признаю и открыто заявляю, что стремление общества окружать тайной ключи, раскрывающие науке новые широкие горизонты, я нахожу недопустимым.

Полковник торопливо протянул руку с трибуны, позвенел о графин стаканом, перебил настойчиво:

— К сожалению, должен призвать дорогого брата к порядку. Уважаемый брат уклоняется от ответа по существу. Но учитель... — полковник выдвинул нижнюю челюсть, набожно закатил глаза. — Учитель говорит: «Защити животное или ребёнка, но не вмешивайся в судьбу взрослого человека».

— Предоставить умирающему с голоду умирать? — перебил доктор негромко.

Полковник поспешно процитировал:

— «Накормить бедных — хорошее, полезное и благородное дело... Но напитать их души ещё благороднее и полезнее, чем насытить их физические тела».

Брезгливая гримаса пробежала по лицу доктора. С минуту сдерживался, подыскивая, смягчая выражения, сказал заметно дрогнувшим голосом:

— Нет более удобной, более пригодной для бездушного эгоиста лазейки, чем та, которую создали себе ханжи и мелкие себялюбивые натуры из слов учителя. И если вы ненамеренно остановились, полковник, если вы избрали эту цитату, то цитируйте дальше: «Каждый богач может напитать тело, но только тот, кто знает, может утолить голод души...» Пересчитайте же мне богачей, их немало среди членов нашего общества, пересчитайте мне тех, кто выполняет обе возможности, кто не стремится почить на лаврах в выполнении одной... последней?

Полная дама с седой шевелюрой несколько раз пыталась перебить противников, обливала доктора гневными взглядами, что-то возмущённо шептала маленькому автору религиозного трактата.

Теперь она выпрямила внушительную фигуру, поднялась, с решительным видом обратилась к полковнику:

— Прошу слова.

Полковник перегнулся в глубочайшем поклоне, сделал рукою широкий пригласительный жест.

Дама сказала, кинув в сторону доктора сухой и враждебный взгляд:

— Мне кажется, как вы, брат, так и вы... сэр, теряете время в бесплодном состязании. Мы намеревались предложить на обсуждение наших бенаресских братьев вопрос простой и ясный. Вы, сэр, как лицо заинтересованное, разрешаете формулировать его перед собранием?

Доктор почтительно наклонил голову в сторону пожилой дамы:

— Прошу вас об этом, сударыня.

Дама настоящим мужским жестом встряхнула седой шевелюрой, обвела испытующим взглядом собрание, сказала:

— При всём моём уважении к научным заслугам вашим, сэр, общество в лице его старших членов вынуждено признать ваши действия не соответствующими основным требованиям корпоративной чести.

Бледные мисс ещё больше потупили гладко причёсанные головки. Офицеры, будто по команде, разом повернулись, с любопытством уставились на человека, получившего тяжёлое оскорбление в столь резкой и определённой форме. Человек стоял спокойно, не подал реплики, лишь выжидательно взглянул на покрасневшее от гнева лицо седой дамы. Та продолжала, видимо волнуясь:

— Да, сэр, не соответствующими чести. Не откажите же теперь ответить, не уклоняясь, на вопросы, подлежащие обсуждению общества...

Дама сделала паузу, потом, медленно отчеканивая слова, с видом председателя коронованного суда сказала:

— Будете ли вы отрицать, что неоднократно делали достоянием профанов сведения, которыми располагают самые высшие степени посвящения нашего общества?

Доктор Чёрный серьёзно и коротко ответил:

— Не отрицаю.

— Так... Станете ли вы также отрицать, что вами неоднократно печатно и устно подрывалось в широких массах доверие к основным догматам нашего мировоззрения?

— Признаю и это.

— Что вы не один раз, и здесь и в Европе, нарушали корпоративную дисциплину, старались восстановить против неё вашу аудиторию.

Доктор ответил:

— Моё глубокое убеждение, что нет элемента более мертвящего, парализующего мысль, чем партийные рамки и партийная дисциплина.

Дама обменялась с полковником и сморщенным старцем в тюрбане возмущённым и в то же время торжествующим взглядом.

— Ах, вы и этого не отрицаете? Тем лучше. Вы сами облегчаете формулировку обвинения. Гм... Исходя из того, что сведениями, которые вы так опрометчиво сделали достоянием профанов, вас вооружило посвящение учителей нашего общества в тайны скрытого знания, которые открыты были вам под клятвой...

Доктор Чёрный внезапно перебил спокойно и мягко, но настойчиво, чуть улыбнувшись синими глазами:

— К сожалению, сударыня... это вынужден категорически отрицать.

Полная дама изумлённо отшатнулась, залилась багровым румянцем, почти крикнула:

— Я вас не понимаю. Что вы хотите сказать?

Доктор ответил, не скрывая мягкой, но чуть-чуть насмешливой улыбки:

— Мне кажется, я выразился достаточно ясно. Вы утверждаете, будто сведения, которыми я располагаю, приобретены мною в обществе, от лиц, которых вы называете учителями, что таковые посвятили меня под клятвой хранить в тайне...

Дама перебила, не будучи в силах более сдерживаться:

— И это вы отрицаете? Вы...

— Категорически отрицаю, сударыня, — спокойно и твёрдо сказал доктор Чёрный.

Словно дуновение ветра пронеслось в комнате. Бледные мисс, разом выпрямив тонкие шейки, обратились назад, уставили на дерзкого протестанта полные суеверного ужаса округлившиеся фонарики глаз.

В рядах офицеров усиленно зашаркали подошвы, звякнули шпоры. Француз, коммерческий агент, фукнул в седую эспаньолку, откровенно и одобрительно крикнул.

Дама крикнула, потеряв самообладание:

— Это, это... не знаю, как назвать это, сэр. Здесь не время и не место для шуток.

— Но я не шучу, сударыня, — возразил доктор. — Я категорически отрицаю, что сведения, которые вам угодно называть скрытыми, я почерпнул в вашем обществе.

— Вы член нашего общества.

— Что ж из этого? Я вступил в члены ещё в Европе, в качестве лица, интересующегося всяким движением с религиозно-нравственной подкладкой. Мало того, вам самим, сударыня, должно быть известно, хотя бы от профессора Шнейдера, что даже и в этом инициатива принадлежала не мне. Видные члены вашего движения настойчиво при-гла-ша-ли меня, сударыня.

Полное лицо седой дамы приняло почти синеватый оттенок. Задыхаясь, прокашляла:

— Но сведения, сведения!.. Вы уклоняетесь в сторону.

— Сведения?.. — доктор Чёрный задержал на минуту на лицах президиума чуть-чуть иронический взгляд. — Будьте любезны, сударыня, назвать собранию лиц, учителей, как угодно вам называть, которые посвятили меня в тайны вашего общества?

— Вы напрасно будете трудиться, сударыня, — прибавил доктор, видя, как дама с растерянным видом обратилась к полковнику, как сморщенный старик, поднявшись с места, заковылял к трибуне. — Вы напрасно потеряете время. Ни здесь, в Бенаресе, ни в Адьяре, ни в Европе вы не найдёте лиц, посвящавших меня в ваши тайны, бравших с меня, как вы уверяете, клятвы.

— Значит...

— Значит, я почерпнул эти сведения из другого источника, и только ему принадлежит право требовать от меня отчёта.

— Но... но в таком случае, какой же источник?

Доктор Чёрный вежливо улыбнулся.

— Виноват... Вы только что обвиняли меня в излишней болтливости, сударыня, в неумение хранить тайны.

— Хо, хо! — раздалось в той стороне, где зверски скручивал седую эспаньолку французский коммерческий агент генерал де Марелль.

Доктор продолжал мягко:

— Я остановился на выяснении этого вопроса только для того, чтобы указать, насколько... опрометчиво поступили вы, сударыня, бросив мне в лицо обвинение в отсутствии чести.

Коренастая фигура полковника качнулась над пюпитром трибуны. Молоточек забил энергичную дробь.

— Возлюбленные братья! Мы снова рискуем уклониться в сторону. Брат Тшерни с откровенностью, достойной э... э... всякого уважения, высказал свой взгляд на деятельность нашего общества. Последний вопрос: что побуждало брата оставаться в наших рядах?

Доктор Чёрный минуту помедлил, — можно было предположить, раздумывал, отвечать ли вообще на этот вопрос, — сказал медленно, взвешивая слова:

— Высокий девиз общества, налагающий на каждого обязанность бороться против извращения его в жизни.

— Ах так? Смело, хотя несколько... туманно. Но это к лучшему. Это даёт мне право сразу поставить на обсуждение почтенного собрания вопрос... — полковник с торжественным видом откинулся назад, проскандировал громко, стучая по доске пюпитра ребром ладони: — Желательно ли дальнейшее присутствие в рядах нашего общества члена со столь ярко выраженной, гм... э... э... собственной инициативой? Желающих ответить утвердительно прошу поднять правую руку, отрицательно — оставаться на месте.

Полковник крепко сцепил крючковатые пальцы на животе, откинулся в кресле и с видом лица незаинтересованного возвёл глаза к потолку.

Пожилая дама с седой шевелюрой, не скрывая ненавидящего взгляда больших выпуклых глаз, демонстративно по-наполеоновски скрестила на груди толстые руки. Внезапно с испугом обернулась к своему питомцу в туземном костюме.

Вундеркинд, печально глядя своими огромными серьёзными глазами, высоко поднял тонкую смуглую руку, обнажённую выше костистого локтя.

Полная дама, разом потеряв спокойную важность, порывисто наклонилась к его уху, что-то возмущённо зашептала, оттопыривая толстые губы, положила на худое плечо ребёнка тяжёлую руку.

Смуглый ребёнок не опускал поднятой руки, слушал с чуть заметной мягкой улыбкой взрослого, тихо, но решительно покачал гладко причёсанной головой.

Бледные мисс в передних рядах долго шептались, критическими взглядами окидывали невысокую стройную фигуру обвиняемого, его бледное лицо с тёмными усами, встретили, наконец, взгляд его синих глаз, сразу решились, потихоньку одна за другой потянулись вверх тонкими пальчиками.

Из офицеров не подняли рук трое в чудовищных ботфортах, с рыжими котлетками, будто гуммиарабиком приклеенными к лоснящимся щёкам, с низко придавленным затылком с огромными челюстями, туго прижатыми высоким воротником.

«Братья» в туземных костюмах, ютившиеся в задних рядах, подняли руки поголовно.

Чета де Мареллей, подняв руки, повернулась к доктору с ободряющей улыбкой. Генерал от полноты чувств даже пальцами поднятой руки перебирал, будто коршун, готовый кинуться на добычу.

Полковник нашёлся.

— Возлюбленные братья! Очевидно, меня не поняли. Кто за исключение брата, брата заблудшего, не оправдавшего наших надежд, не поднимает рук. Во избежание недоразумений вношу поправку, за исключение оставят руки поднятыми вверх.

С густым шорохом вытянутые руки упали. Генерал де Марелль по привычке потянулся к своей эспаньолке, но тотчас спохватился, принялся растирать опущенной рукою коленку с таким ожесточением, будто она была у него больно ушиблена.

Полковник пересчитал руки.

С кислой улыбкой отнёсся в сторону доктора:

— Могу э... э... поздравить возлюбленного брата. Несмотря на очевидное...

Доктор Чёрный перебил сухо:

— Виноват. Я спешу выразить свою благодарность братьям за их поддержку и симпатии. Спешу потому, что я... — голос доктора зазвучал металлическими нотками. — Я не считаю себя членом общества, к руководителям которого я перестал чувствовать уважение. Письменное заявление направлено мною в Адияр ещё вчера с утренней почтой.

VIII

— Что скажешь, Желюг Ши? — спросил доктор Чёрный.

Стол, за которым он сидел, можно было бы назвать письменным, если бы не был он так завален брошюрами, папками, футлярами из-под каких-то странных и сложных приборов, плотно закупоренными пробирками с жидкостями всех цветов радуги, мутными и прозрачными.

Доктор отодвинул тяжёлый микроскоп с анализатором, откинулся на спинку кресла.

Шофёр съёжил скуластое пергаментное лицо, с усилием вымолвил по-русски:

— Она пришёл.

Доктор по просьбе тибетца давал ему дома возможность практиковаться на незнакомом языке. Поощрительно улыбнулся, переспросил так же по-русски:

— Кто «она»? Откуда? Зачем?

— Она, баришна... мисс, — шофёр не сладил, перешёл на английский язык, доложил быстро и коротко: — Приехала высокая мисс и «литтл-мистер», — шофёр показал на четверть от пола. — И с ними высокий лорд, седой и такой важный... как бонза.

Шофёр угрожающе оттопырил губы, совсем спрятал глаза в складках пергаментной кожи.

Фамильярно прибавил:

— Вы не приказали никого принимать нынче, сэр.

— Да карточки-то они тебе передали?

Тибетец вытянул из-за спины крепко зажатый кулак, протянул скомканный листочек картона, сказал соболезнующе:

— Доктору опять не дадут работать.

Но доктор спешил развернуть смятую карточку, укоризненно закачал головой; шофёр осведомился со сконфуженным видом:

— Желюг Ши сделал глупость?

— А он уже спровадил гостей? — ответил в тон доктор вопросом.

— Пока нет; ждут у калитки. Машина «бенц».

— Значит, Желюг Ши только мог сделать глупость, — доктор улыбнулся. — Пусть Желюг Ши всё-таки почаще вспоминает, что мы с ним не в Гималаях, не в монастырской библиотеке... Скорее пусти машину во двор. Проси гостей сюда, в кабинет. На веранде сыро. Ты знаком? — доктор протянул визитную карточку кому-то через стол, в тёмный угол, плотно прикрытый тенью абажура.

Оттуда негромкий мужской голос ответил по-французски с чуть заметным акцентом:

— Де Марелль? Очень милый старик. Немножко резковат.

— А его дочь?

— Я видел её всего...

Доктор поспешил к дверям, навстречу посетителям.

Генерал, в сюртуке с высокой талией и юбкой раструбом, с кровавой каплей орденской розетки на лацкане, будто только что соскочил со страниц «Sect'a».

Комическим контрастом с этой монументальной фигурой рядом выступало крошечное сухое смуглое тело Джека. Худенькие ноги вундеркинда беспомощно болтались в принадлежностях модного фланелевого европейского костюма.

Эме де Марелль чуть замешкалась на пороге, быстрым, немножко суеверным взглядом окинула простую обстановку.

Девушка была в том же чёрном, без всякой отделки, платье, в котором доктор видел её у леди Меджвуд. Только пушистого песцового боа не было теперь на плечах, и низкий ворот открыл точеную смуглую шею.

Странное чувство шевельнулось в сердце доктора, когда, крепким мужским рукопожатием отвечая на его приветствие, она сказала низким контральто:

— Вот видите, мы не ждём даже вашего визита. Папа боялся надоедать вам, а я потащила.

Что-то беспокойно шевельнулось в душе доктора. Какое-то смуглое полузабытое сравнение настойчиво просилось наружу. Ответил:

— Ради Бога, извините. Я намеревался засвидетельствовать вам своё почтение завтра, в ваш приёмный день.

— Э, что там считаться, — генерал стиснул руку хозяина огромной волосатой ладонью. — Моя девчонка голову совсем потеряла после собрания. Спит и видит побывать у чародея в его пещере. Ну, где тут у вас ваши скелеты, совы, змеи... что там ещё полагается?

Доктор улыбался.

— Скелетами и совами, к сожалению, служить не могу. Змея, правда, была, но тоже издохла. Вот в шкафу её чучело. Джек?.. Вот кого не ожидал, неужели вас ко мне отпустили?

Вундеркинд повидался с хозяином, ответил спокойно, без всякой обиды, своим тусклым, постоянно печальным голосом:

— Вы ошибочно представляете себе, сэръ. Я не стеснён в своих действиях никем.

Эме де Марелль поспешила ответить на вопросительный взгляд доктора:

— Джек прогостит у нас целую неделю. Мисс Ани уехала с полковником в Мадрас.

Девушка приблизилась к столу, испуганно вздрогнула. В тени абажура из кресла поднялась чья-то высокая стройная фигура в тёмном визитном костюме, с небольшой чёрной бородкой, резко подчёркивающей оливковую бледность лица, белизну тюрбана, прихваченного большим мерцающим камнем-пряжкой.

— Я не представил вам моего друга.

— Мы встречались, — с приветливым смущением возразила гостья, протягивая руку бледному индусу.

Генерал, разглядев, с кем имеет дело, шумно заахал, потянулся к туземцу чудовищной ладонью, отдуваясь, воскликнул:

— Дорогой Гумаюн-Синг! О вас-то я и мечтал. Счастливая встреча! Батюшка, что ж это вы подвели нас? Мы так надеялись на эту партию риса для Франции. Меня замучили телеграммами.

Индус мягко ответил:

— Очень сожалею, мой генерал, что вынужден был огорчить вас. Я уже сделал распоряжение агенту выплатить неустойку сполна. В партии возникла экстренная необходимость для округа Виндия.

— Голодающим? Слыхал, слыхал. Благородно, но... не коммерчески.

— Я плохой коммерсант, — возразил индус с улыбкой.

— При таком состоянии? Ай-ай-ай! Вы не думаете, господа, о вашем долге перед промышленной культурой вашей страны.

Генерал шумно уселся на кожаный диван, потирал колени, отдувался, весело вращал зрачками выпуклых желтоватых глаз.

Его дочь не отходила от письменного стола. Доктор с улыбкой наблюдал, как воспитание боролось с жгучим, совсем детским любопытством, острыми искрами вспыхивающим в глубине больших глаз.

Девушка с суеверным почтением покосилась на оцетинившийся объективами револьвер микроскопа, осторожно дотронулась розовым ногтем крошечного мизинца до одной из разноцветных пробирок. Спросила робко, тихонько, с почтительным ужасом:

— Это... чума?

Доктор встретил беспокойный взгляд генерала, инстинктивно упёршегося уже ладонями в диван, поспешил ответить:

— Значительно более безопасная вещь. Если бы пробирки с разводками таких страшных бактерий валялись на письменных столах, меня давно вздёрнули бы на виселицу. Для исследований чумы, холеры существуют строго изолированные лаборатории. Здесь, в Бенаресе, мне не пришлось даже посещать их. Моя роль — оценка санитарных мероприятий. Вы можете без всяких опасений взять эту «чуму» в руки.

Девушка осторожно достала пробирку из гнезда деревянной горки, поиграла на свет топазовой жидкостью.

— Как красиво! Совсем драгоценный камень. Ай, там замутилось.

Доктор успокоил:

— Это растут кристаллы. Я сейчас работаю как раз над этим вопросом. Видите? В этих маленьких трубочках тихо, незаметно растут, размножаются, питаются и залечивают раны существа, которых наука до вчерашнего дня считала мёртвыми. Хотите взглянуть в микроскоп?

Девушка с загоревшимися глазами поспешила усесться в кожаное кресло, доктор стоя урегулировал освещение, наклонился к окуляру:

— Ну, что вы видите? Если видите плохо, туманно вращайте вот эту головку, вот так... как в бинокле.

Девушка плотно прижала бровь к окуляру, растерянно моргала с непривычки свободным глазом.

— Ах, вот... теперь вижу. Тёмный круг, да? Так надо? Какие-то искорки. Ах, я, должно быть, толкнула. Один подвинулся. Ну, да, я толкнула...

Доктор усмехнулся.

— С вами солидарны целые поколения учёных, мадемуазель, — сказал он с добродушной насмешкой. — Они были твёрдо убеждены, что движения эти зависят от толчков, от течений, обращающихся в жидкости, в арене движения. Под влиянием нагревания или охлаждения... Однако не спешите принимать за комплимент то, что я сказал относительно вас. Светлый ум одного из учёных, правда недавно, — я говорю о профессоре Лемане — наголову разбил это представление.

— Значит, эти продолговатые столбики... живые?

Доктор ответил не сразу.

— Что такое жизнь? Одноклеточные существа, бактерии, амёбы официально признаны наукой живыми. Но академии с пеной у рта встречали всех, кто заикался о древней легенде, будто металлы и камни одухотворены начатками жизни. Великий Лавуазье не мог вместить представления о небесных камнях-аэролитах. Его история хронически повторяется при каждом новом завоевании научного гения.

Девушка разочарованно протянула:

— Значит, пока всё это одни предположения?

— Далеко нет. В паспорте на звание живого существа предусмотрены обязательные пункты: известная степень самостоятельности, то, что называют индивидуальностью существования, размножение, восстановление утрачиваемых тканей и движение. Всем этим требованиям кристаллы отвечают.

Девушка оторвалась от микроскопа, взглянула на доктора, спросила, капризно-кокетливым тоном смягчая недоверие:

— Я ничего, конечно, не понимаю, вы не будете надо мной смеяться? Я хотела спросить, этот ваш, как его... Леман разве не может тоже ошибаться?

Доктор улыбнулся.

— Недоверие — лучший залог успеха в научном исследовании. В данном случае вы, однако, не правы. Леман, помимо оригинальных работ, привёл в систему и проверил работы целого ряда других учёных. Я могу перечислить вам Эрдмана, Когена, фон Шрена, Треска Ледюка... [4]

— Боже мой, Боже мой!..

— Пшибрама, Остена, Гасслингера...

— Доктор, ради Бога. Я уже стыжусь своего недоверия.

Доктор продолжал, улыбаясь:

— Все эти учёные обнаружили у кристаллов явления питания, разумеется в самой простейшей форме, способность заживлять ранения, расти и побуждать размножение себе подобных. Всё это не только по внешности, но и по существу сходно с теми же явлениями у животных и растений.

Доктор порылся на столе, открыл плоский продолговатый кожаный ящик с рядами узеньких стеклянных пластинок, отыскал новый препарат, придвинул к себе микроскоп. Осторожно вращая кремальеры предметного столика, заговорил снова:

— Вы знаете, что живые ткани утомляются, нуждаются в отдыхе? Такой авторитет, как знаменитый лорд Кельвин, установил явления усталости и отдыха для... металлов. Наш калькуттский брат, физик Боза, пошёл ещё дальше, нашёл лекарства против усталости металлов. Те же самые, что для мускулов человека, — тёплые ванны и вибрационный массаж.

Доктор урегулировал свет, приткнулся на минуту к окуляру, подвинул инструмент своей слушательнице.

— Теперь ничего не вижу... Нет, нет, вижу. Какая-то сетка и тёмные пятнышки...

Доктор сказал:

— Вы не специалистка, но вам приходилось читать, что все живые и растительные тела состоят из микроскопических клеток, снабжённых плотным ядром, которое висит или плавает — как хотите — в менее плотной массе — плазме. Ваши тёмные пятнышки — ядра, а сетка — границы клеток.

— Да, да, я слышала. Ведь это кожа?

— Это металл. Металл, тончайшим слоем в расплавленном виде налитый на холодную пластинку. Таких аппаратов из сотни удаётся один. Этой удивительной картиной, раскрывающей нам тайну строения металлов, мы обязаны профессору Карто и его соратникам фон Шрену, Треска, Остену, Шпрингу. Расплавьте на пламени паяльной трубки стекло, и вы убедитесь, что и оно построено из клеток.

Хорошенькая слушательница внезапно вздрогнула, подняла голову от окуляра. Наивно передёрнув плечами, уставилась на огонь. Произнесла задумчиво:

— Но ведь это ужасно!.. Если они живые. Вы подумайте. Вы сидите в комнате совершенно один. Убеждены в этом. А на самом деле вас окружает целая толпа живых... вещей. Может быть, они слушают, смотрят на меня. И...

— Смотрят едва ли, — рассмеялся доктор. — Но весьма возможно, они каким-либо образом, по-своему, чувствуют ваше присутствие. Но зачем же бояться. Никогда не надо забывать, что всё наше тело состоит из тех же мёртвых вещей. Вы читали в любом иллюстрированном журнале, что тело человека — столько-то воды, железа, соли, извести... Чего же бояться родных своих братьев? Ведь даже белок, основа растительных клеток, не что иное... Да, позвольте. Я вам сейчас покажу.

Доктор быстро переменял препарат.

— Вот вам картина типичнейшей деятельности живой ткани — размножение клетки делением. Вы заметили там, где тельце дало перетяжку, прямолинейные чёрточки, словно веники, друг к другу раструбом. Этот таинственный рисунок является в белке в период размножения. Смотрите сюда.

Доктор порылся между брошюр, достал проволочный остов какой-то странной фигуры: было похоже на две сложенные основаниями многогранные пирамидки, вроде тех, с каких дети в школе рисуют контуры геометрических тел.

— Смотрите на свет, — доктор приподнял проволочный скелетик вровень с белой подкладкой абажура. — Узнаете? Ну да, та же фигура, что сейчас наблюдали в микроскопе. А знаете, что это? Это рёбра геометрических сечений кристалла. Да, да... Профессор Кромпехер доказал, что типичнейший жизненный процесс живой клетки подчинён законам кристаллизации. Таинственный рисунок — простое преломление света в гранях кристаллизующейся массы.

Генерал де Марелль шумно поднялся с дивана, опёрся тяжёлой ладонью о письменный стол.

— Cher ma?tre![5] Однако, того... позвольте и мне. Это, знаете, такая чертовщина выходит.

Генерал грузно ввалился в кресло, оставленное дочерью, тщетно старался поймать головку микрометрического винта.

— Rien ne va...[6] Ах, чёрт, в самом деле любопытно. Живая, изволите говорить, клетка? Вуаля! Живая, а лежит себе смирно. Да, много есть, друг Горацио... Как это бишь?

Генерал с почтительным выражением повертел в руках проволочный остов, помычал неопределённо: «А... гм-м...» Внезапно, осенённый сопоставлением, повернул своё массивное туловище в сторону хозяина так, что жалобно треснуло кресло.

— Cher ma?tre! Знаете, что пришло мне в голову? Вы утверждаете, что вся эта мерзость живая. А? Ну а золото? Тоже металл. Презренный и прочее. Стало быть, страсть к этому металлу можно объяснить.

Доктор перебил:

— Профессор Осмонд и Остен, чтобы узнать, живёт ли золото, обернули золотой цилиндр свинцовой пластинкой. Золото... проросло металл; тончайшими нитями-жилками оно внедряется в олово...

— И в душу? Хо, хо... — генерал расхохотался сам своему каламбуру. — Знаете, драгоценнейший, ну вас совсем. Вас послушать, купоны остричь рука не поднимется. Чикнешь ножницами, а они заплачут. К чёрту коммерцию. Завтра записываюсь в студенты.

Эме де Марелль придвинула к столу шезлонг, устроилась в нём, закинув под голову руки, вся одетая призрачной полутьенью абажура, молча мерцала большими разгоревшимися глазами.

Маленький Джек, молча всё время ютившийся в углу большого дивана, зашевелился, сказал своим странным, будто подслушивающим голосом:

— Всё это давно знал... Учитель.

Из шезлонга прозвучало низкое контральто:

— Доктор. Вы слышите?

IX

Что-то словно толкнуло доктора при звуках этого голоса. Обернулся к шезлонгу и отступил поражённый.

Поразительное сходство. Сходство, не бьющее в глаза, почти незаметное с первого взгляда, но тем более разительное теперь, когда удалось уже его усвоить.

Порылся на письменном столе, достал из-за груды брошюр и тетрадей кожаную рамку, пригляделся, снова перевёл глаза на стройную фигуру, сидящую в шезлонге.

— Но вы же вылитый портрет, мадемуазель. Не понимаю, как мог я не заметить раньше.

Доктор передал фотографию Гумаюн-Сингу. Индус с улыбкой кивнул головой, внимательно поглядел на девушку, сказал:

— То, что называют внутренним сходством... И голос. Особенно голос.

Эме де Марелль уже вскочила с шезлонга, стояла у письменного стола.

— Доктор. Вы меня интригуете... Ах, это Джемма. Бедная Джемма... Это я давно уже знала. В Париже нас часто принимали за сестёр. Бедная девочка. Ай, кто это? Доктор, а это кто, не секрет?

Генерал де Марелль принял из рук Гумаюн-Синга фотографию, долго, отставив подальше, к свету, изучал старчески дальнотзорными глазами смуглое женское лицо, печально улыбавшееся из рамки. Помычал неопределённо:

— Да... гм-м... Не нахожу. Возможно, весьма отдалённое.

Поставил рамку на стол, бросил беспокойный, даже чуть-чуть суеверный взгляд на разругавшееся личико дочери. Генералу, должно быть, не улыбалось сходство дочери с

подругой, погибшей такой трагической смертью. Эме де Марелль стояла теперь у стола с другой, такой же кожаной рамкой в руках. Жгла доктора вспыхнувшими от любопытства глазами, настойчиво спрашивала:

— Доктор. А это кто? Это бестактно с моей стороны, но я не отстану. Кто это... такие глаза...

Доктор почему-то медлил ответом.

— Это офицер... или чиновник? — догадывалась Эме. — Костюм с металлическими пуговицами и, потом, эти петлицы. Почему вы не хотите сказать?

Из рамки на неё глядело очень худое, с выдавшимися скулами мужское лицо.

Лицо некрасивое, блеклое той преждевременной блеклостью, что накладывала на молодые черты напряжённая работа мысли. Была особенность в этом лице. Можно было часами глядеть на портрет и, отойдя, тотчас забыть все черты — нос, и рот, и овал лица. Но лоб и глаза навсегда внедрялись в память. Лоб высокий, классических линий, под прядью непослушных, должно быть мягких, волос. И глаза даже здесь, на портрете, обесцвеченные однотонной передачей, будто прокалывали картон, вызвали в представлении странную мысль, будто смотрят они не с матового листка шероховатой бумаги, а откуда-то сзади, издалека, из глубины, которую страшно измерить.

Доктор ответил наконец:

— Нет, это не офицер. Это студент, русская форма. Он тоже... умер. Он работал под моим руководством.

— Умер?

Доктор ответил со странной запинкой:

— Да, погиб и для жизни и для науки. Я так много ждал от него.

Эме де Марелль улыбнулась полушутливо, полугрустно.

— Мне не везёт. Я могла бы влюбиться в человека только с такими глазами.

Беспокойный ревнивый блеск вспыхнул в печальных глазах маленького Джека. Мальчик протянул худенькую смуглую руку, долго пристально разглядывал портрет. С настойчивым немым вопросом поднял глаза на доктора, сказал, будто припоминая, глядя в темноту остановившимся, отсутствующим взглядом:

— Разве он умер? Я часто встречался с ним там.

Эме с любопытством окликнула:

— Джек, что вы хотите сказать? Где это «там»?

— Там... Там, где со мной говорит учитель.

Девушка с беспомощным видом уставилась на доктора.

— Я не понимаю его. Мне так бы хотелось знать.

Доктор сказал уклончиво, обращаясь к Джеку:

— Там ты мог видеть отошедших, Джек.

— Он не отошёл ещё, — настойчиво возразил ребёнок. — Учитель сказал мне, как различать. Он не отошёл, сэр. Зачем неправда?

— Не будем говорить о нём, Джек, — сказал доктор. — Простите, мадемуазель, это очень тяжёлое воспоминание.

Джек заговорил упрямо, словно прислушиваясь к чему-то, не моргая широко раскрытыми, остановившимися глазами:

— Он не отошёл. Я видел его, вижу... Ему тяжело... Очень тяжело. Он теряет рассудок...

Доктор заметно вздрогнул. С побледневшим сразу лицом, пальцами правой руки сделал быстрый, трудно уловимый жест на уровне расширенных глаз ребёнка.

Джек очнулся, сморгнул, обвёл всех недоумевающим взглядом, сказал, увидав у себя в руках кожаную рамку:

— Какое лицо... Я встречал его где-то. Кто это, сэр?

Доктор мягко, но настойчиво отобрал у него рамку.

— Очень может быть, Джек. Мы были с ним вместе в Мадрасе два года назад.

Доктор внимательно пригляделся к ребёнку, сказал, задержав на минуту свою руку на его гладко причёсанной голове:

— Успокойся, Джек. Не надо так волноваться!

Мальчика трясла теперь лихорадочная дрожь. Сероватая бледность набежала на смуглое лицо. Потухли большие глаза. Весь он, словно после страшного напряжения, как-то погас, обвис в кресле, сразу превратился в обыкновенного беспомощного ребёнка.

Доктор плеснул из кофейника, стоявшего на тумбочке возле генерала, на блюдце чуточку кофе, достал из кармана чёрный пузырёк с плотно притёртой пробкой-капельницей, отмерил в кофе чуть заметную каплю тягучей жидкости.

— С тобой это часто бывает, Джек? — спросил он, поддерживая голову ребёнка, заставляя того проглотить кофе.

Джек, стучая зубами о блюдце, втянул жидкость, устало откинулся на спинку кресла. Минуты две пролежал с закрытыми глазами. Потом выпрямился, отозвался прежним спокойным голосом взрослого:

— Когда со мной говорит учитель, я лежу в постели весь день. Они не дают мне этого, — Джек кивнул в сторону блюдца.

Генерал де Марелль чувствовал себя, должно быть, шероховато среди этой напряжённой, почти истерической обстановки. Не допил своей чашки, шумно поднялся с дивана, усиленно заморгал в сторону дочери.

— Cher ma?tre! Мы так бесцеремонно злоупотребляем вашим временем. Не теряем надежды видеть вас у себя.

Эме де Марелль снова взяла со стола привлёкший её внимание портрет. Словно нехотя поставила на прежнее место, повернулась к хозяину с умоляющим видом:

— Доктор, я беру с вас слово. Я думаю, мы вам надоели, я любопытна, как девчонка.

Она спохватилась, вспомнила что-то, смущённо повернулась к отцу:

— Папа. Мы с вами совсем забыли про нашу просьбу!..

Генерал поспешно перебил:

— Поспеем, поспеем. Нельзя накидываться сразу на человека. Не в последний раз видимся.

Девушка настойчиво перебила:

— Почему не сказать сейчас? У доктора могут представиться другие планы.

Хозяин перебил вежливо:

— Я прошу располагать мною, мадемуазель. Чем могу быть полезен?

Девушка смущённо замаялась. Генерал ответил ворчливо:

— Этой голове надо было родиться мальчишкой. В самом деле... Вместо того чтобы заняться делом, побывать в обществе, этот сорванец намерен вернуться в Европу.

— Мне надоело ваше «общество», — капризно оборвала Эме. — Я молчу по целым часам в обществе жён наших приятелей. Я ничего не понимаю в хозяйстве и в модах. У меня нет подруг. Джемма умерла... А мисс Меджвуд я не могу теперь видеть. Вы подорвали во мне к ней всякое доверие, доктор. К ней и её «братьям» и «сёстрам». Вы и должны отвечать.

— С удовольствием соглашаюсь нести ответственность.

— Девчонке взбрело на ум опять записаться в студентки, — пояснил генерал с видимым неудовольствием. — Ваши лавры, *sheg ma'tre*, не дают ей спать. Узнала, что вы отправляетесь в Европу, и хочет навязаться вам в попутчики, вот.

Доктор ласково улыбнулся девушке.

— Могу только одобрить ваше намерение. Мы переговорим об отъезде на днях. Вы мне доставили искреннее удовольствие вашей просьбой. Вы так напоминаете мне Джемму.

Генерал подхватил облегчённо:

— Довольно!.. Ну, теперь собирайся. И так ко второму действию дай Бог попасть.

Девушка лукаво блеснула глазами.

— Папа! Ваше нетерпение может показаться подозрительным. Разве вы слушаете «Фауста» первый раз в жизни?

Генерал сразу очутился в своей сфере. Сдвинул со стуком каблуки; с видом отчаянного гамэна закрутил эспаньолку. Отозвался, польщённый:

— Какова? Старика отца заподозрить... Дитя моё, нельзя же оставлять приглашённых в ложу одних. В самом деле...

— Миссис Абхадар-Синг приедет с племянницами.

— Вдова Абхадар-Синга здесь? — осведомился из своего угла молчаливый миллионер.

— Очаровательная женщина! — отозвался генерал, сладко прищурился. — О-ча-ровательна. И какой характер. Жить восемь лет в глуши, в джунглях, с больным

капризным стариком на руках. Это подвижничество... Однако позвольте пожелать...

Доктор крепко пожал волосатую руку генерала. Спросил:

— Вдова Абхадар-Синга будет жить в Бенаресе?

— А... И вы её знаете? К сожалению, нет. Мадам также мечтает о Европе. Здесь, в Бенаресе, она по делам. Старикашка-покойник, между нами, был азартный делец. Вдова решила всё ликвидировать. В Бенаресе ей предстоит реализовать что-то около семи миллионов. Кругленькая цифра, не так ли?

— Старик поступил как джентльмен. Иначе и не могло быть... Здесь у неё счёт на Смита. Кстати, о чём бишь я хотел вас спросить, дорогой мой набоб...

Генерал вернулся с порога, уцепился за пуговицу визитки Гумаюн-Синга, с таинственным видом понизил голос:

— Правда, сегодня шептались на бирже, в кулуарах, будто бы Смит... непрочен?

— Ничего не могу вам ответить на это. Не имею с конторой Смита никаких отношений. Как посторонний не знаю. Смит слишком крупная величина.

— Очень! Крупная величина с крупным треском и падает. Если враки — тем лучше. Старик — способная шельма. Хотя, знаете, очень тревожный симптом. Нынче столкнулся на бирже с Саммерсом — лорд, крупный пайщик. Подозрительно этак улыбается на вопросы, скрутил губы.

— Ничего не могу сказать, генерал.

Доктор проводил гостей до веранды, дождался, пока Желюг Ши захлопнул дверцы автомобиля, вернулся в кабинет.

Гумаюн-Синг ходил медленными размеренными шагами, заложив за спину руки. И его белоснежный тюрбан то тускнел в тени абажура, то вспыхивал ярким пятном в освещённом пространстве, мерцал красным глазом рубиновой пряжки.

Доктор машинально передвигал на столе брошюры, захлопнул кожаный ящик с препаратами, поглядел на лица, смотревшие из рамок, такие знакомые и такие далёкие, отодвинул портреты к стене. Молча постоял у стола, придвинул кресло, уселся, устало уронил голову на руки.

Гумаюн-Синг тихо шуршал подошвами по ковру. Остановился. Выронил тихо, вопросительным тоном:

— Вот и расплата?

Доктор отозвался, не поднимая головы:

— За что?

— Я говорю про старика Смита, — сказал индус, и в голосе его протиснулись сухие враждебные ноты. — Карма не прощает. Мы можем винить негодяя, подучившего женщину. Но виноват Смит сам.

Доктор молчал. Гумаюн-Синг сказал раздумчиво:

— Старик погиб. На него давно точат зубы. Заминка в расчёте с наследницей клиента сразу развяжет языки. Строить спекуляции на умирающих с голоду...

Доктор отозвался:

— Ты знаешь, как тяжело мне слушать всё это. Я бессилён помочь.

— Бессилён? Но ты можешь требовать помощи у любого из братьев. У меня, наконец.

Доктор тихо покачал головой.

— Требовать? Нет. Требовать я не имею права. Старик осудил себя сам. Но за мной остаётся право... просить.

Индус возразил сухо:

— Ты воспользуешься этим правом?.. А ты подумал о тех сотнях тысяч людей, которых этот старик выкинул без куска хлеба на улицу в погоне за барышами? О тех несчастных, которых оторвали от семьи и родины, пользуясь тем, что грозила голодная смерть?

— Если бы речь шла только о нём... — выронил доктор.

Индус горько махнул рукой:

— Э... неужели ты до сих пор не убедился ещё в своём заблуждении? Что общего между ней и тобой? Цепляется за жизнь, не способна даже чувствовать превосходства ума, отдаёт сердце мальчишке, когда рядом настезь распахнута дверь к знанию, к лучезарной действительной жизни.

— Ты не прав, — сказал доктор с усилием.

— Дай Бог, чтобы так было на самом деле. Но я убеждён, что тот, кто так цепко тянется к жизни...

— Тот... — перебил доктор твёрдо, — тот с большим ужасом и навсегда отшатнется от неё, когда поймёт, что цеплялся... за труп.

— Поймёт ли? — с сомнением кинул индус, уходя в дальний угол.

Доктор прибавил с живостью:

— Даже не о ней идёт речь. Она перенесёт всякую тяжесть, ты не знаешь её, Синг. Она перенесёт и смерть старика, и ту грязь, какой заплуют его имя. Даже для неё я не стал бы останавливать руку Карающего. Но ты забыл о тех же тысячах жизней, за которые мстит старику слепая Карма. Старик погиб. Предприятие рассыплется прахом. Что ждёт тысячи тех, кого он связал со своей судьбой?

Гумаюн-Синг остановился, типичным восточным жестом, прорвавшимся сквозь европейское воспитание, щёлкнул пальцами, отпарировал коротко:

— Ай-ай! О них не беспокойся. Гумаюн-Синг сумеет сохранить не одну тысячу жизней, если дело идёт об истёрзанной родине.

Доктор поднялся со своего кресла, сказал:

— А старик? Тебе так и так придётся рискнуть той же суммой. В первом случае даже меньше риска.

Индус спрятался в углу за тенью, ответил угрюмо:

— Старик подписал себе приговор сам.

— И ты хочешь быть его палачом?

Доктор подошёл к индусу, уронил на плечо ему руку, долгим взглядом заглянул под ресницы потупленных глаз. Сказал тихим голосом:

— Брат! Помнишь, что сблизило нас с тобой? Что поставило нас в стороне от других братьев, подчинявшихся мёртвой букве закона? Нам ли с тобой быть палачами кого-либо?

Гумаюн-Синг возразил ещё угрюмее:

— Не прав ты... Я не толкал его к гибели.

— Но проходить мимо гибнущего, не протянув руки?..

Индус особенно долго молчал, хмурил брови. Резкая складка напряжённой мысли перерезала лоб. Внезапно поднял глаза, просветлевшие, мягким блеском озарявшие бледное смуглое лицо. Сказал тепло и просто:

— Мне... стыдно за себя. Спасибо! Ты ещё раз помешал мне сделать гадкое дело. Нет больше ненависти в моём сердце. Но... как ты её любишь, как любишь.

Доктор крепко стиснул руку товарища. Молча глядели друг другу в лицо.

Внезапно вздрогнули оба.

Холодное дуновение, ветер, распахнувший, должно быть, окно, прикоснулся к коже, тихо зашелестел мягким листком развёрнутой брошюры. Обернулись оба зараз. Было такое чувство, будто кто-то стоит за спиной, глядит, выжидает... После отъезда гостей Желюг Ши выключил люстру в столовой. Веранду не освещали зимой. И невысокая полузакрытая портьерами дверь чёрной щелью, будто зрачок огромного тигра, заглядывала в кабинет.

Только что никого не было на пороге.

Доктор сам закрыл на ключ дверь на веранду, отослал Желюг Ши готовить ужин, и было слышно, как тибетец звенел посудой на кухне.

И странным, призрачным, невозможным казалось то, что было перед глазами.

Высохшая бронзовая худая фигура стояла на пороге. Фигура исхудавшего до последней степени туземца с белой повязкой на бёдрах, с обнажённым торсом, с голым черепом, с которого свешивался набок чуб.

Тёмные, тяжёлые веки прикрывали глаза. Высохшие синеватые губы чуть-чуть оттянулись, чуть-чуть открывали зубы, белоснежные, крепкие зубы молодого человека.

С минуту призрачная фигура стояла так, с опущенными глазами, потом взмахнула тяжёлыми веками, словно положила на лица, на грудь остолбеневших приятелей тяжёлый, бесцветный, мертвенный взгляд чудовищных глаз. Смерть называют покоем... Из глаз гостя глядела и смерть, и покой бесконечный, и древность, древность, для измерения которой, вопреки рассудку и логике, на язык настойчиво просились не десятки, а сотни лет. И под взглядом этих пустых и спокойных мертвенных глаз доктор Чёрный почувствовал, как давно забытое чувство, чувство, парализованное десятками лет упорной работы над собою самим, чувство вражды к человеку, овладевает сердцем. Страшно побледнел, сделал порывистое движение навстречу.

Зеленоватые фосфоресцирующие лампы зажглись в глубине глаз странного гостя. Одним движением чуть расширенных зрачков перевёл взгляд на доктора. И доктор почувствовал, как

ноги стали бессильными, мягкими, будто набитыми ватой.

Высохшая фигура медленно двинулась с порога к столу. Передвигала ли она ногами? Ни доктор, ни Гумаюн-Синг не могли бы ответить на это.

Фигура подошла вплотную, и тогда стало видно, что на месте её, на пороге, осталась другая фигура меньше ростом, такой же скелет, обтянутый кожей, с такой же повязкой на бёдрах, — мальчик-туземец с огромными чёрными, будто невидящими глазами, с плетёной тростниковой корзиной на голове.

Туземец с чубом сделал над письменным столом движение рукой, будто бросил или клал что-то. Так же молча, не опуская страшных глаз, спиной отступил к двери.

И тотчас обе фигуры пропали в темноте чёрной щели. Не было слышно шагов, не звякнули стёкла в дверях веранды... И мысль не хотела мириться, не верила, что сейчас, здесь, в этой комнате, рядом с пробирками, книгами, тяжёлым штативом микроскопа стоял призрачный страшный скелет с мёртвыми глазами.

Первый пришёл в себя доктор.

Бросился в темноту двери, в столовую, кинулся на веранду, догнать... И сразу наткнулся лицом на холодные, влажные, запотевшие стёкла запертой двери. Нажал рукоятку, убедился, что заперто на ключ изнутри, отсюда. С трудом отыскал ослабевшими пальцами головку ключа, щёлкнул замком.

Долго стоял на веранде, подставляя лицо свежему ветру, мелким каплям дождя, что стряхивали шелестящие ветки камелий.

Вернулся в свой кабинет, шатаясь, обессиленный, подавленный, вздрагивающий мелкой расслабляющей дрожью...

Почти ушёл в своё кресло.

Гумаюн-Синг, так же потрясённый, взволнованный, показал дрожащей рукою на стол. Сказал коротко:

— Брат. Нас зовут!

На столе, там, где рядом с тенью абажура свет разостлал коврик, на белой обложке атласа лежало что-то похожее на две половинки огромного грецкого ореха. Две половинки плода с твёрдой, словно шерстью покрытой скорлупой, две несимметричные части двух разных плодов. И мягкая розоватая сочная сердцевина пропитала в комнате воздух сильным одуряющим приторным запахом.

Х

Всё произошло как-то особенно быстро... Правда, телеграмма о скоропостижной смерти такого клиента кого угодно могла застигнуть врасплох, но к старику Смиту уже на следующий день вернулось спокойствие.

Никакой опасности и не предвиделось, в сущности.

Документы, выданные Смитом покойному миллионеру, пожалуй, слишком лаконичны. Для

обеих сторон открывают широкую инициативу. Есть ли в них прямое указание на то, что Смит обязан в любую минуту вернуть капитал наследникам вкладчика? Нет. Как нет, впрочем, препятствий для этих последних в любую минуту предъявить подобное требование. Но, кто бы ни был наследником, не помешанный он, в самом деле? Какой расчёт кому бы то ни было жать его беспощадно? Его, который два с лишком десятка лет выплачивает клиентам банка дивиденды с щедростью машины, фабрикующей деньги?

Да, металлическая наличность покойного клиента целиком вложена в перевозку рабочих на архипелаг. Но три-четыре месяца, и она возвратится сюда же с процентами, которые зажмут глотки десяткам наследников. Надо питать к нему, Смицу, особенную ненависть, чтобы подложить какую-нибудь свинью.

Слава Богу, он в лучших отношениях с покойником. Знаком и с семьёй. Жена — прелестнейшее создание, блондинка с глазами Мадонны, тихая, кроткая, безропотно переносившая капризы и брюзжанье старика.

Потом племянницы — калькуттские студентки, очень милые девочки. Для них Смит авторитет непогрешимый. Больше и нет никого.

Смешно бояться ему, рискнувшему в деле с разведками в Непале суммой почти втрое большей, — бояться чего, привидений?

И по утрам, взрезая за кофе бандероли газет, ежедневно сообщавших о положении отравленной миллионерши, и у себя в кабинете, вскрывая лаконичные депеши Гемфри Уордла, Смит бранил себя за бесформенное беспокойное чувство тревоги.

— Чёрт возьми! В самом деле, пора на покой. Становлюсь стариком.

Но смутная тревога росла, настойчиво копошилась, сосало под сердцем. И не исчезла тогда, когда стало известно, что единственная наследница — вдова, и когда Гемфри Уордль телеграфировал из Аллагабада: «Оправилась. Выехала Манвантар-Бунгало».

И затихли все сообщения, и требований никаких не поступало, и на письма его с выражением соболезнования пришёл очень тёплый ответ, за подписью одной из племянниц покойного. Девушка благодарила и за себя, и за тётку: та ещё слаба и лишена возможности принести благодарность высокоуважаемому мистеру Смицу лично.

А чувство тревоги росло, назревало, мучило ночью и по утрам заставляло беспокойно рыться в визитных карточках просителей, ожидавших в приёмной.

И в тот проклятый день, когда Кани-Помле, горничная-тамулька, давно заменившая в доме сипая-дворецкого, подала ему карточку с тонкой вязью: «Джемс Ларсон. Присяжный стряпчий», чувство тревоги, Смит помнит отлично, сразу оформилось. Долго разглядывал карточку, успел подумать о том, что шрифт оттиснут неопрятно, должно быть на машине, не у литографа. И когда выходил в кабинет к посетителю, уже чувствовал, знал, что этот малознакомый, второстепенной марки юрист несёт ему, Смицу, тяжёлую и страшную новость. Адвокат ждал в кабинете, не садясь, с любопытством ощупывая подслеповатыми бесцветными глазками дорогую обстановку. Зашаркал мягкими, без каблучков, подошвами навстречу хозяину, перегнулся пополам в глубоком поклоне, подребезжал жидким голосом:

— Тысячу извинений, сэръ. Осмелился беспокоить.

Смит вежливо указал юристу на кресло, прошёл к своему месту, за стол. Молча, покручивая седую бородку, ждал, что скажет посетитель.

Тому, очевидно, не улыбалось первому начать разговор. Беспокойно бегал бесцветными

глазками, спрятанными за толстые стёкла очков, мял на коленях огромный, порядком вытертый, битком набитый бумагами портфель. Виновато хихикнул:

— Вчерашняя биржа прошла неожиданно крепко, дорогой сэ...

Смит учтиво ответил:

— Да, горизонт проясняется. Могу чем-либо быть вам полезен?

Юркий адвокат ещё беспокойнее забегал глазами.

— Маленькое дельце, сэ. Совсем микроскопическое... Извольте ли видеть... лицо, вам, без сомнения, хорошо знакомое, один из ваших клиентов, вернее, правопреемница такового сделала мне высокую честь, поручив выполнение некоей, чисто формальной операции, имеющей связь с делами вашей конторы.

Смит поощрил равнодушно:

— Да?..

— Да. Клянусь Юпитером, я не осмелился бы вас иначе беспокоить... Вам, разумеется, известно уже, что в правах наследства к имуществу покойного Абхадар-Синга, ставшего жертвой несчастного случая, утверждена...

Кто-то будто чуть-чуть приподнял кресло под Смитом, приподнял и покачнул из стороны в сторону. И качнулась перед глазами белобрысая прилизанная голова адвоката. Чувствовал, как заохлодило внизу живота, будто тело до пояса погрузили в прохладную воду. Перебил, успевши оправиться, совершенно спокойно:

— Вдова? Да, мне об этом своевременно было сообщено.

— В самом деле? — адвокат довольно некстати хихикнул. — Это весьма облегчает дело. Дело в том, что моя уважаемая клиентка, под влиянием печальных событий, жертвой которых она едва не стала сама, решила оставить Индию навсегда. Из сего намерения логически вытекает необходимость ликвидировать в кратчайший, по возможности, срок имущественные дела на полуострове. В части сей ликвидации, касающейся бенаресских фирм, ваш покорный слуга почтён лестным доверием нашей общей клиентки. В том числе мне поручена...

Стряпчий порылся в портфеле, вытащил аккуратно перегнутый лист глянцевиной бумаги, протянул хозяину.

— Поручена реализация наличности по некоторому документу, выданному наследодателю вашей конторой. Из предъявленной мною при сём доверенности вы убедились...

Смит мельком взглянул на заголовок бумаги, свернул её и возвратил адвокату:

— Доверенность в порядке... Документ, о котором вы говорите, предусматривает реализацию семи миллионов металлическим курсом. Это именно то «микроскопическое» дело, которое вы имели в виду?

Адвокат весело захихикал. Отозвался, протирая очки:

— Для вас, дорогой сэ, для вас. Для нас, маленьких людей, такая сумма...

— Какой срок указан вам для выполнения вашего поручения?

— Carte blanche, дорогой сэ, carte blanche. Не скрою, наследница торопит с ликвидацией. Ей улыбается покончить в неделю-две. Но мы-то деловые люди, сэ. Я на свой страх расширяю

срок до трёх недель... В крайнем случае до месяца даже.

Адвокат с настойчивым вопросом направил очки на лицо Смита. Тот ответил бесстрастно:

— All right. Будет сделано соответственно распоряжению.

Адвокат медлил покинуть кресло. Повторил снова, с ноткой весёлого недоверия в голосе:

— В крайнем случае месяц, дорогой сэр. В случае же каких-либо осложнений даже...

Смит перебил, по-видимому, равнодушно:

— Нет, какие же могут быть осложнения? Месяц совершенно достаточно.

Адвокат поднялся, несколько не то изумлённый, не то разочарованный.

Председатель нефтяного треста просто и приветливо пожал ему руку. Пошутил на прощанье:

— Так «микроскопическое дельце»? А? И гонорар, соответственно, «микроскопический»?.. Да, кстати... Наша очаровательная клиентка до самого отъезда так-таки и не покинет джунглей?

Адвокат, должно быть, всё время ждал этого вопроса. Ответил поспешно, с готовностью:

— Миссис Абхадар-Синг? О, нет, дорогой сэр, нет. Разве можно требовать этого от женщины её лет, её наружности? На днях она приезжает в Бенарес. Я слышал, будет заказывать костюмы для Европы. Наши «пакэны» не успели ещё перекочевать в новую столицу.

— А... гм... Буду иметь случай засвидетельствовать почтение.

Адвокат внезапно остановился, спросил неожиданно:

— Маленькая нескромность... Как идут дела на архипелаге?

Если юрист надеялся смутить Смита этим вопросом, он, должно быть, ошибся. Председатель ответил, правда значительно суше, но, видимо, шокированный лишь явной бесцеремонностью попользования проникнуть в профессиональные коммерческие тайны:

— На архипелаге? Компания своевременно печатает об этом отчёты в утренних газетах.

Потом адвокат вышел и унёс с собой раздувшийся порыжелый портфель. А хозяин остался в кабинете, стоял у стола, машинально перебирал бумаги, переставлял с места на место пресс-папье. Ощущал странную мягкую лёгкость во всём теле, странную пустоту в голове. Одинок метались в опустевшем мозгу отрывочные фразы: две-три недели... даже месяц... в крайнем случае месяц...

Потом было ещё быстрее и проще.

Вдова миллионера приехала на той же неделе.

Столкнулись случайно на вокзале. Дочь провожала старинную приятельницу, мисс Джексон, с которой приехала вместе два года назад из России. Старая дева соскучилась в Дели у брата-офицера, потянуло на север. Ехала снова в Россию, в гувернантки к какому-то крупному сановнику. Нельзя было не проводить. Поехали на вокзал целым домом, и он сам, и Дина, и этот добрейший полу-Гастон, полу-Василий.

И странным почему-то показался взгляд небесно-голубых глаз прелестной миллионерши,

чуть осунувшейся, чуть побледневшей после недавней болезни, ещё больше похорошевшей в рамке чёрного траурного платья.

С особенным чувством приложился к крошечной благоухающей ручке, подозрительно прислушивался к утомлённому голосу.

— Мистер Смит? Какая приятная встреча. Надеюсь, вы не забудете бедной вдовы. Я дома весь день.

Смит может почти поклясться, что странный, жёсткий, ледяной блеск зажётся в утомлённых глазах миллионерши, когда она отвернулась, пригляделась к кому-то в конце платформы, спросила ангельским голосом:

— Ваша дочь? Не правда ли? Какая прелесть. Я понимаю тех, кто без ума от неё.

Что удержало его тогда познакомиться Дину с вдовой? Правда, Дина усаживала приятельницу в купе на другом конце платформы, но миссис Абхадар-Синг, по-видимому, была не прочь задержаться на минуту на перроне и, простившись, идя за слугой в белом тюрбане к автомобилю, снова кинула взгляд в сторону девушки.

Чёрт возьми! Не мерещится ли, однако, ему всё это? Не результат ли нервного напряжения? Не маленькая ли «мания преследования» на почве переживаемого критического момента?

Так мог он думать до вчерашнего дня, до минувшего утра...

Можно ли было ждать, предвидеть?

Надушенный, свежий и бодрый, с привычной, слегка иронической улыбкой старика, хорошо сохранившегося, когда-то кружившего головы десяткам женщин, он прошёл за стюардом в одну из комнат, занятых миллионершей в отеле, в маленький дамский кабинет с мебелью птичьего глаза, крытой блеклым шёлком цвета экры.

Давно не было на сердце так легко и спокойно, как в это утро.

И разом упало настроение, разом почувствовал, что теряет под ногами почву — уловил за приветливой улыбкой на прелестном исхудалом лице тот же взгляд, что поймал вчера на вокзале, жёсткий, холодный взгляд прозрачных глаз, словно пустых, словно изнутри занавешенных непроницаемой матовой тенью.

Долго, словно мячиком, перекидывались обязательными фразами, приторно-вежливыми, слащаво-бессодержательными. Говорили о том, о чём принято говорить в подобных случаях «в обществе».

Сам невольно оттягивал, отдалял решительный момент. Осведомлялся о подробностях печального события, возмущался несовершенством современной науки. Ах уж эти светила эскулапы!.. С самым заинтересованным видом выслушал сообщение о том, что племянницы заняты осенними экзаменами, не могли сопровождать её в Бенарес. Но они приедут. Они так мечтали послушать гастролёра в «Фаусте».

Внезапно решившись, кинул вскользь, безразличным, чуть-чуть скучающим тоном, тем тоном, что принят в разговоре о сухих материях с хорошенькой женщиной:

— Э... кстати. Из памяти вон. Меня на днях посетил ваш поверенный, некий... Ларсон?

— Да, в самом деле? — Прозрачные глаза ещё плотнее занавесились изнутри. Да. Она помнит. Она дала поручение этому Ларсону потому, что покойный Абхадар-Синг имел с ним кое-какие дела. Он немного неуклюж, этот Ларсон. Сын ирландского пастора, патера... что-то

в этом роде.

Значит, она окончательно решила покинуть Индию?

Да. Она решила бесповоротно. Она чуть не умерла здесь. Здесь на каждом шагу опасности, которых даже не подозреваешь. И потом, эти воспоминания... Вдова боязливо передёрнула исхудавшими плечиками.

— Но... не скрою от вас. Экстренность вашего требования угрожает вам потерей процентов почти за целое полугодие.

Ах, Бог с ними, с процентами. Это проклятое золото, счёты, барыши... Лишь бы ей поскорее развязаться со всем этим, вздохнуть свободно. Она согласна помириться с потерей всех процентов, лишь бы иметь в руках наличность, скорее, скорее уехать... сейчас.

Гм... «сейчас»? Нашёл в себе ещё силы улыбнуться этому «сейчас». Сумел скаламбурить о том, что, если не задержат семь миллионов, задержит портниха.

О нет. Костюмы ей перешлют в Париж через Гавр, со следующим рейсом. Сезон ещё не начался. В крайнем случае к её услугам Пакэн. Она заказывала у этой артистки перед отъездом сюда. За этим дело не станет. Этот неуклюжий Ларсон грозит задержать целый месяц. Страшно подумать... Но ведь мистер Смит, милый мистер Смит не станет её мучить так долго? Каких-нибудь полторы-две недели? Правда? Мы отберём у этого глупого Ларсона доверенность, передадим другому. Ей так безумно хочется уехать скорее...

Детски-умоляющая гримаска, прелестнейшая улыбка и там, где-то сзади, изнутри, жёсткий подстерегающий холод.

Осторожно и долго объяснял все неудобства экстренной реализации. Намекнул на отсутствие определённого срока в документе. Ни один суд...

— Ах, Боже мой! Да разве предстоит ещё судиться?

Она думала, что всё это так просто. Ах, этот Ларсон. Теперь очевидно, он ничего не понимает. Он так обнадёжил её. Необходимо заменить его скорее другими.

Беспокойные, плаксивые, настоящие «бабьи» ноты пропитали голос. Опустились углы губ, жалкая складка перерезала лоб, глаза зажглись определённым холодным жадным испугом.

Как он не уследил такого выражения прежде?

Нет. О суде не может быть и речи. Дело так чисто, как день. Он хотел ознакомить её с юридической стороной вопроса, в теории, так сказать...

С ужасом чувствовал, что не находит подходящих выражений. Вся способность соображать, ориентироваться словно сковывал этот трусливо хныкающий, бабий голос, эти прозрачные глаза, холодные, жёсткие, жадные.

И, сознавая, что делает ложный рискованный шаг, непоправимую глупость, внезапно чувствуя себя в роли мальчишки, припёртого к стене, тоном почти просителя, не успевши сдержать дрожи в голосе, кинул прямо:

— Даже в том случае, если я... лично я как о маленьком одолжении для себя буду просить...

Слёзы... Целый душ, брызнувший из туги налившихся, помутневших глаз.

Ради Бога! Она ничего, ничего во всём этом не понимает. Он так напугал её. Она никогда не

ожидала. Лучше бы ей никогда не связываться с этим Ларсоном. Она не может остаться здесь, в этой Индии. Она еле дышит. Профессор Уард нашёл у неё, как это... да, акцент тона аорты. У неё страшное малокровие. Профессор слушал её и выстукивал, здесь... вот здесь. Она так надеялась на милого мистера Смита. Пусть же он не мучит её. И опять этот холодный, тупо-жестокий, жадный застанный взгляд, странно спокойный рядом с этими слёзами, истерическими воплями.

— Успокойтесь, успокойтесь, миледи. Вашим интересам не грозит никакой опасности. В месяц всё будет кончено. Возможно, даже раньше, значительно раньше.

Правда? Он не шутит? Какой он милый... Слава Богу, она так испугалась... Всё этот Ларсон... Ну, не будем... не будем больше вспоминать об этих беспокойных, гадких вещах. Что нового у них, в Бенаресе? Не скучает ли здесь его дочь? Ах, она решительно влюбилась в эту прелестную головку, такую бледную, с такими роскошными тяжёлыми волосами.

И надо было сидеть, подавать реплики на глупые, фальшивые фразы обезумевшей от жадности, изломанной бабы.

И вышел, приложившись к круто посоленной слёзами ручке, весь под впечатлением прощальной напутственной фразы хозяйки:

— Милый, милый мистер Смит. Я так расстроена, так испугалась...

Невольно остановился на минуту в конце коридора, спохватился, что не дал ничего корректному стюарду, машинально полез в жилетный карман.

Сходил с лестницы в полутёмный прохладный вестибюль. Не держалось ни одной мысли в опустевшем мозгу. Отрывал подошвы на узкой матерчатой дорожке, прихваченной к ступеням блестящими медными прутьями. Почему-то сегодня особенно резали глаза узкие красные бордюрики по бокам половика, по три бордюрика с каждой стороны.

Остановился как вкопанный, чувствовал, как тело дрожит мелкой дрожью. Вспомнил... Такая же лестница, с таким же, с бордюриками, половиком, с медными прутьями, сумрак вестибюля, чьи-то пальто в полутьме, там, на вешалке, чьи-то молчаливые фигуры у дверей.

Так же он сходит с лестницы... Но приехал тогда не так. Не было ещё автомобилей... И тяжёлые подкованные сапоги, дребезжа шпорами, спустились тогда сзади за ним.

Приехал он, вызванный повесткой представителя ещё нового, модного тогда института, вызванный в качестве свидетеля по страшному, тяжёлому делу. И сходил с лестницы после того, как вызвавший, следователь по особо важным делам, выбритый сухощавый блондин с правоведским значком — теперь он сенатор, обратился к нему сухо и вежливо, упервшись согнутыми пальцами в стол, пристально глядя в лицо жёсткими голубыми глазами:

— К сожалению... К сожалению, вынужден применить к вам, милостивый государь, в качестве меры пресечения э... э... личное задержание.

XI

И с тем же чувством жуткой колышущей лёгкости будто опустевшего тела и мозга председатель нефтяного треста, британский подданный Николай Смит, сидит сейчас в своём кабинете, на любимом просиженном, вытертом кожаном кресле с подлокотниками вылезшего из-под лака тёмного дерева.

Старое кресло режет глаза диссонансом на фоне массивных и стильных диванов, огромных книжных шкафов чёрного дуба, рядом с этим роскошным столом, сплошь заваленным отчётами с бесконечными полями, разноцветными обложками уставов коммерческих обществ, безделушками и пресс-папье, из которых каждая имеет историю, а некоторые — вот та, например, «сырой» тусклый берилл, ещё зажатый в обломке породы, стоят не одну тысячу фунтов.

Но пустым, невидящим взглядом смотрит владелец на эти вещи, и лишь уютное старое обшарпанное кресло напоминает ему, что он ещё у себя, дома...

Ещё вчера вечером лихорадочно работала мысль.

Ещё вчера казалось, что возможно уладить, что, нажавши все кнопки, махнув рукой на две трети состояния, можно обернуться в течение месяца, спасти ситуацию, дело... положение даже, пожалуй.

Только что из кабинета вышел адвокат Ларсон.

Юркий юрист явился сегодня чуть свет, по-видимому искренно возмущённый, даже искренно сочувствующий. Беспомощно разводил руками, утвердив на коленях огромный портфель, дребезжал писклявым голосом:

— Это чёрт, а не баба, дорогой сэ... Пусть простят мне это непозитическое сравнение по адресу столь крупной клиентки. Это не жадность даже, а помешательство какое-то. Вчера, клянусь Юпитером, она оторвала меня от обеда, прямо из-за стола. Устроила сцену, истерику... Стыдно перед прислугой. Кричала, что я вожу её за нос, что дело должно покончить в одну неделю. Будто вы, не только другие адвокаты ей говорили, но и вы сами... Вы были у неё вчера, дорогой сэ?

— Был.

— И... говорили?

Председатель устало и криво усмехнулся. Адвокат подхватил:

— *By Jove!* Разве же может быть об этом речь? Надо быть годовалым ребёнком, безнадежным идиотом, чтобы не понять такой простой вещи... Я объяснял ей битый час. Знать ничего не хочет. Через неделю, или в суд, в суд... Это помешательство, дорогой сэ.

— В суд? — председатель усмехнулся ещё угрюмее. — Чего же надеется она добиться в суде?

— Святой Антоний! — сын ирландского патера даже всплеснул руками. — Да я же говорил этой фурии благороднейшим чистым языком старой Англии, что суд расхохочется над ней, что вы имеете право полгода не показывать ей ни пенса... Знать ничего не хочет.

Хозяин долго молчал, внимательно разглядывал намокший лоб, запотевшие очки взволнованного юриста, спросил негромко, отдельно, настойчиво:

— Это... шантаж?

Белобрысый юрист змеем свился в поместительном кресле. Даже портфель упустил с колен. Поперхнулся, побагровел, уронил очки, взбросил их на лоб, не вытирая, заголосил плачущим голосом:

— Дорогой сэ, клянусь Юпитером... Разве может быть речь? Такое страшное слово... Я лично ничтожнейшее передаточное орудие. Я мог бы ответить, если бы я знал, если бы я

знал что-либо сам.

Удалось наконец поймать бегаящий взгляд адвоката. Адвокат Ларсон именно «знал» что-то, но было очевидно, что за усвоение этого знания он получил столько же, сколько за обязательство такового не обнаруживать.

Дело было ясно. Взгляд небрежливого юриста окончательно подтвердил смутное подозрение, вспыхнувшее ещё вчера, у вдовы, и окрепшее после обеда на очередном собрании пайщиков.

Дело ясно.

Смит подержал адвоката ещё с минуту под пристальным взглядом, постучал карандашом по бювару, устало и холодно сказал:

— All right. Будет сделано распоряжение.

— Распоряжение? — голос Ларсона звучал явным недоверием.

Председатель прибавил сухо:

— Могу быть вам полезен ещё чем-нибудь?

— Но... дорогой сэръ. Я... я обязан осведомить свою клиентку.

— Я вам ответил достаточно определённо.

Адвокат похлопал ещё минуту растерянными недоумевающими глазами, стыдливо спрятал за спину руку, дав ей предварительно повисеть в воздухе в тщетном ожидании прощального рукопожатия, исчез за дверью с видом собаки, неожиданно ощутившей на челюстях намордник.

Хозяин остался один.

Откинулся на спинку кресла, задумался, машинально пощёлкивая по борту стола разрезным ножом — небольшим отточенным слоновым бивнем.

Дело ясно.

Смутное, тогда ещё бесформенное, подозрение закопошилось у него в первый раз на перроне вокзала под странным, жестоко-любезным, глумливо-сочувственным взглядом вдовы.

Потом эта безобразная сцена в отеле. Эти вопли, всхлипывания, бабий плаксивый тон, эта необъяснимая тупость, нежелание слушать никаких резонансов... И через минуту сухие глаза, вежливо-бессодержательная болтовня, восхищение его дочерью. Очевидно, всё инсценировано с намерением.

Кто-то стоит за подлой бабой, кто-то руководит.

Наверное, организована целая компания против него. Возможно, участвуют капиталисты с архипелага, которым он наступил на хвост своим выпадом с ликвидацией забастовки. Разве он мог проследить, с кем водилась эта тихоня, быть может, ещё при жизни старика Абхадар-Синга?

Прохвосты выбрали удачный момент — он погиб.

Угроза судом — явный шантаж. Противники знают не хуже его, что суд не присудит ни

фартига раньше полугода. Здесь бьют на скандал.

Газеты тотчас ухватятся за патриотическую тему — ведь он натурализованный британец. Брошенное вскользь, между строк, словечко о том, что он, Смес, бывший Сметанин, когда-то сосланный на каторгу по обвинению в убийстве родного брата, бежавший из Сибири, — и... паника. Паника поголовная среди клиентов всех предприятий, во главе которых стоит его имя.

Безусловно. Вчера, на бирже, уже шептались, он видел отлично. Он знает лучше, чем кто-либо, этот неуловимый шелест в кулуарах, словно протиснулся в окна осенний ветер, и под холодным дыханием его лица внезапно бледнеют, испуганно округляются глаза, зябко подёргиваются плечи и... и умирают в одну минуту дела, кормившие сотни тысяч людей.

Потребуют вклады, закроют текущие счета, и то, что теперь можно уладить в два-три месяца, отодвинется на год и дальше.

Кто-то настойчиво, умело агитирует. Вчера, на собрании, ему, к словам, к кашлю, к улыбке которого прислушивались прежде с затаённым дыханием, пришлось пустить в ход все силы, чтобы провести ассигновку в несчастных четыреста тысяч. И то, если бы не Саммерс... Честный малый! Нет, что ни говори, всё-таки слово «джентльмен» родилось в Англии, там и останется. Дине вскружил голову этот мальчишка. Да, он мил и честен. Пожалуй, талантлив... Но разве же это мужчина? Разве это ум, личность? Эх, сына бы, сына ему, старику, сына такого, как Саммерс. В самые рискованные минуты он спокоен, уверен, когда рядом эта железная фигура с бесстрастным, холодным, сухим, но умным лицом.

By Jove. Спроси он сейчас у него ордер на весь его вклад, разве дрогнет эта сухая аристократическая рука с печаткой на мизинце, печаткой, что тискала когда-то восковые печати рядом с Ричардом III?

Бесполезно. Эти полтора бумажных миллиона не спасут его. На их реализацию понадобятся те же недели и месяцы.

Есть выход...

Председатель треста повернулся.

Вот глядят на него со стены знакомые большие глаза. Тот же овал бледного лица, что у Дины, та же грустная черта между бровей. Только тяжёлые пышные волосы уложены скромной старомодной коронкой, да узкий белый воротничок — таких не носят теперь — выпущен из ворота платья с узкими плечами. Нет, жена не дала бы ему сына, подобного Саммерсу. То же восковое сердце, что у Дины, тот же характер, тот же дикий, жалкий, болезненный страх перед золотом. Разве не половину колоссального состояния первого мужа бросила она на освобождение его самого из Сибири? Разве потери на первых шагах его новой карьеры здесь, в Индии, огорчали её? Э... да что вспоминать! Устал он. Даже в минуты подъёма, в минуты блестящего успеха его начинает охватывать утомление. Ему ли бороться теперь? Ему ли выдерживать натиск молодых организованных сил, эти потоки грязи, плевки, что польются на его имя через каких-нибудь полгода?

У него уже давно пошаливает сердце. На самом деле... Почему не хватит его припадок сейчас, здесь, в кресле? Всё было бы спасено. Никому не пришло бы и в голову требовать расчёта раньше законных сроков. Победителей и мёртвых не судят. Само правительство тотчас заткнуло бы рты негодьям. Отчётность в блестящем порядке, нигде ни сучка ни задоринки, недаром он целый месяц в последнее время работал ночами. Баланс безукоризненный. Наличность вложена в дело на островах, в дело, гарантированное правительством. Официального требования, требования через суд, через нотариуса, он не получал. Частные визиты поверительного ходатая не обязывают ни к чему.

И всё бы пошло своим порядком, естественным темпом. Всякий дрожал бы за собственную шкуру, не к кому было бы пристать с ножом к горлу. Вернулись бы капиталы. Спокойно ликвидировали бы дела душеприказчики. И Дине, кроме несчастных ста тысяч, что положила ещё мать в Петербурге, причислились бы, по крайней мере, три миллиона.

Только один он лежал бы тогда уже в могиле.

Э... за всех не проживёшь. Ему шестьдесят седьмой, даром что на вид не больше пятидесяти.

Амба!..

Почему пришло ему на ум теперь именно это «техническое» слово воровского жаргона, что вспыхивало в затхлой промозглой палубе «Добровольца», куда его вместе со шпаной погрузили в то время, тридцать лет назад, для отправки в Дуэ? Разве совесть его не чиста? Почему же назойливо просится в уши давно забытое стрекотанье цепей, словно в солнечный день под застрехой щебечут воробы?

Смит выдвинул ящик письменного стола. Отодвинул к задней стенке папки с бумагами, тихонько надавил чуть заметную, сточенную с деревом вровень, головку гвоздя, и дно ящика разом ожило, собралось шторой, открыло ящик поменьше, в доске.

Председатель порылся в потайном ящичке. Вытащил чей-то портрет в рамке-бумажнике, чьи-то письма, блеклые благоухающие листочки бумаги, похожей на батист, перевязанные выцветшей лентой, целую пачку векселей. Тщательно пересмотрел их, что-то подсчитывал на уголке бювара, улыбался в усы, встречая под цифрами текста женский растрёпанный почерк.

Поднялся из-за стола, щёлкнул английскими замками обеих дверей. Придвинул кресло к камину и долго, один за другим, швырял на раскалённые угли листки, векселя, письма и кусочки вынутого из рамки, мелко разорванного портрета. Следил, как тонкое синее пламя рождалось над каждым листком, оседало, гасло и с металлическим звоном коробились чёрные скрученные корки. Дождался, пока весь пепел вытянуло в трубу, тщательно промешал золу и придвинул кресло на прежнее место.

Потайной ящичек пуст. Последним достал оттуда небольшую овальную коробочку. Маленькую лубяную коробочку, в каких из аптек отпускают хину. Долго смотрел на большую желатиновую капсулу, чем-то налитую, одиноко прижатую к стенке. Рядом пустое гнездо, должно быть, в коробке была ещё капсула. Вероятно, была... Эту коробочку сам он нашёл в таком же ящичке стола у приятеля, банкира Понсонби, что скончался три года назад от паралича сердца, оставив молодую вдову и миллиона полтора капитала.

За эти полтора миллиона ему, Смиту, пришлось тогда покусаться с клиентами покойника. Зачем он тогда припрятал эту коробку?

Зачем берегут верёвку удушенника?

Приносит счастье. Не успела принести за три года, поможет теперь. Смит подошёл к камину, сжёг коробку и крышку, ощутил на ладони холодное прикосновение желатина. Вздрогнул.

— Кто там?

Наскоро прикрыл капсулу раскрытой брошюрой.

Шарль, ароматный, как роза, выбритый, как бильярдный шар, как всегда ослепляющий и улыбкой, и моноклем, и снежным пластроном, немножко изумился: в такой час и кабинет на замке.

— Простите, Шарль... Посетитель захлопнул, должно быть, а я и внимания не обратил. Что нового?

Обычный доклад. Огромный, давно налаженный, выверенный механизм предприятия движется с точностью хронометра. С архипелага депеши... успех превосходит все ожидания. В конце года пайщики увидят не только капитал, но и проценты. Хе, хе... Телеграмма от Гемфри Уордля — ваш личный шифр, мсье. А... Посмотрим. «Тревожные слухи, наплыв требований. Жду указаний». All right. И здесь всё благополучно. Имеет милейший Шарль что-нибудь ещё столь же приятное?

— Больше ничего. У шефа намеревался быть около двенадцати некий Гумаюн-Синг, талукдир, клиент Джеф-ферса и К°, только что предупреждал по телефону... Никак нет, не сообщил, личное дело. Больше пока ничего.

Запер за секретарём дверь, вернулся к столу.

И пока шёл эти десять шагов до стола, постарел на двадцать лет, потухли глаза, и седая голова закачалась на усталой одряхлевшей шее.

Пора... Никаких приготовлений. Самое главное — обстановка внезапности. В двенадцать часов явится этот, как его... Гумаюн. Смит не раз слышал про ненависть этого черномазого филантропа к нему, жрецу золотого тельца. Пришёл, очевидно, добить его... по чьей-нибудь доверенности.

Пора...

Пока распустится капсула в желудке, пока кишечник впитает это последнее «лекарство», пройдёт добрый час. Он успеет позавтракать, велит приготовить экипаж. Где застанет его конец? Дома? В автомобиле? На бирже?... Что-то шуршит за дверью, в гостиной. Хо, хо... Может быть, черти уже явились по душу, как полагается? Покреститься бы разве по-русски, на этакий маленький образ в серебряной ризе... Был когда-то такой в его комнате, давно и далеко... Ну, однако, не надо тянуть... Не раскусить бы нечаянно...

Страшный, сдавленный крик вспыхнул за дверью.

Стук и возня... И с треском, под чьим-то напором, настезь распаивается запертая дверь. Кто-то выбил капсулу из рук, кто-то уцепился за шею... Потом было что-то сумбурное.

Плакали возле него, может быть, сам он плакал... Перетащили его из-за стола на диван и шептали ему наперебой с обеих сторон разными голосами, мужским и женским. Стыдили, умоляли успокоиться, чуть не раздавили ему губу краем стакана с холодной водой.

Было ясно одно — момент упущен. И кто знает, может быть, к лучшему? В самом деле, чёрт с ней, с карьерой, с будущим. «Будущее» для него, семидесятилетней развалины? Клочок, тысяч сто, пятьдесят, всё равно уцелеет. Разве не хватит ему дотянуть где-нибудь за границей, в Ницце, в Швейцарии? Дочери останутся гроши... Да она сама... вон что она говорит...

А Дина, с белыми, как бумага, щеками, растрёпанная, заплаканная, сразу превратившаяся в маленькую беспомощную девчонку, с ногами забралась на диван, прижалась к его лицу мокрой щекой, беспорядочно, по-детски всхлипывала, шептала:

— Папа, папа, как не стыдно? Ужасно... Господи! Я давно замечала. Мы с Васей следили всё время в замочную скважину. Господи! Ты с ума сошёл. Из-за чего? Из-за каких-то проклятых денег? Вася рассказал всё: он слышал вчера в театре. Какая чушь! Умирать из-за этого? Это в романах, на сцене. Продадим всё, всю эту мерзость, этот дом, переведём из Петербурга

деньги, со всеми расплатимся. Если не хватит — у Васи ещё есть три тысячи.

И эти «три тысячи» в его положении своим трогательным комизмом сразу подняли старого Смиса, сразу вернули силы, прояснили рассудок, и, когда, после настойчивого стука в дверь, Дина вскочила с дивана, отошла в тень, торопливо вытирала глаза, оправляла причёску, он бодрым, почти весёлым голосом крикнул:

— Э... кто там? Что надо? Входите.

Но войти было трудно, ибо дверь из приёмной опять оказалась запертой на ключ. Беляев пустил Кани-Помле, передал будущему тестю визитную карточку нового гостя.

— Папа, как хотите... я не оставлю вас одного, ни за что.

— Неловко, Диди. Успокойся. Даю тебе слово.

— Ни за что, ни за что... Я сяду вон там, за диваном, а Вася вот здесь. Он инженер, деловой человек. Представь его секретарём, помощником. Ни за что. Меня не видно совсем.

И вот он сидит снова за письменным столом. Просветлённый и бодрый после нравственной встряски, и мысль, что через неделю, быть может, придётся менять эту роскошь на пару комнат второстепенного отеля, не кажется ему больше острой и страшной. И особенно дорого новое чувство — ощущение взгляда двух пар испуганных любящих глаз.

Вот он и сам, страшный Гумаюн. Ну да, разумеется с портфелем... Сейчас вынет доверенность, а он... А он спокойно заявит ему, что ликвидирует дела. Только и всего. Разорение? Ну уж это касается его одного. Он выплачивал и выплатит теперь всем полным рублём. Когда? В законные сроки. А кто попробует шантажировать его, подсылать Ларсонов, Парсонов, Марсонов, на тех он ещё отыщет управу у его светлости. Ну, тянуть ещё будешь, арапская морда?

Индус, обменявшись вежливым поклоном, поместился в кресле, не спешил открывать портфеля, кинул равнодушный взгляд в сторону Беляева.

— Мой личный секретарь, он не помешает?

— О, нет, — индус говорил по-французски с чересчур мягким акцентом. Дело очень простое. Маленькая формальность, выполнить которую ему хотелось бы лично, перед отъездом в деревню. Он не имел до сих пор случая завязать сношения с конторой уважаемого мистера Смита.

Размазывай, размазывай...

Мистер Смит, разумеется знает, что он, Гумаюн-Синг, клиент Джефферса и К°. И дед, и отец были клиентами этой конторы, но теперь возникло небольшое осложнение. Джефферсы, как известно, переносят центр тяжести операций в Америку, в Чикаго. Учёт для Индии понижен с пяти до трёх процентов. Между тем мистер Смит, если память ему, Сингу, не изменяет, гарантирует клиентам не меньше семи процентов.

— Да, с металла. С металла семь и шесть с бумажных денег.

К чему гнёт, к чему размазывает подлый арап? Дразнить захотел, издеваться?

— Весьма рад, что я не ошибся, — индус говорил просто и вежливо, чуть-чуть сухо, пожалуй.

— Дело в том, что я намеревался просить вас взять на себя наличность, помещённую у Джефферса и К°. Те уже предупреждены. Если вы ничего не имеете против, мы могли бы покончить дело сейчас. Переводные документы у меня. Мне хотелось бы формулировать

срочным обязательством. Скажем, года на три, чтобы не возиться ежегодно с балансом. Не затруднит вас?

Что это? Галлюцинация? Э... чёрт! Черномазый играет комедию. Какая-нибудь мелочь, чтобы испытать.

— Видите ли, я затрудняюсь сказать... Как велика сумма вашего вклада?

Индус порылся в портфеле, вытащил глянцевиные печатные приказы, бегло пересмотрел, сказал спокойно:

— Общая цифра восемь миллионов. Немного меньше. Семь миллионов семьсот восемьдесят три.

И снова кто-то приподнял под Смитом кресло и раз за разом, туда и сюда покачал в стороны.

Долго молчал. Спрятал свои глаза. И вдруг вспомнил с особенной ясностью, что здесь, за диваном, слушает дочь, та дочь, что минуту назад отдавала ему завещанные матерью деньги, предлагала «три тысячи» своего жениха.

Решился. И, глядя в упор в бледное спокойное лицо индуса, сказал раздельно и твёрдо:

— Вы изволили слышать, что говорят про меня за последние дни?

Индус чуть-чуть пожал плечами, учтиво ответил:

— Чем крупнее имя, тем большие толки оно вызывает.

— Гм... Ну а если я сам, обязанный честью джентльмена, признаю при вас, что ваш вклад в данную минуту имеет для меня... особую ценность, что он более, чем когда-либо, необходим мне?..

Что это? Рука индуса не тянется за приказами? Ненавистный Гумаюн обмакивает в чернильницу перо, тянет из портфеля переводный бланк?

Почти участие, смешанное с лёгким изумлением, вспыхнуло в холодных глазах индуса. Выдержал взгляд и просто ответил:

— В таком случае... мне доставит особенное удовольствие вывести столь уважаемую и старую фирму моим участием из этого маленького затруднения. Вы разрешите воспользоваться вашим телефоном, предупредить Джефферса о состоявшейся сделке?

И, когда за индусом захлопнулась дверь, председатель треста, всесильный, всезнающий Смит превратился в беспомощного, слабого старика, обвис в своём кресле, уронил голову на кучу брошюр и долго беспомощно плакал.

Слышал, как Дина дёргала его за лацканы визитки, смеялась счастливым смехом, по-детски визжала.

— Папа! Папа! Вот видите! Что бы мы делали? Я говорила. Как это кстати, как это кстати...

Запнулась на последнем слове, будто осенённая внезапным воспоминанием.

— А знаете, что я подозреваю...

Не договорила, почему-то пугливо метнула глазами в сторону жениха, густо покраснела.

— Господи! Какая чушь! Какая я глупая!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Отсюда было похоже, будто горы покрыты лишаями.

Тёмно-зелёные, жёлтые, красные пятна листвы липли по склонам. Ущелья чуть подчёркнуты тенью, словно складки морщинистой кожи.

На северо-востоке далёкий хребет, совсем прозрачный, совсем слился с синевой неба, нельзя разобрать, снежные это шапки гор или облака, грядую осевшие на самом горизонте.

А на юг убегают клочки туч.

Только что был дождь.

Тот, ни с чем не сравнимый южно-индийский ливень, когда между землёю и небом сплошная алмазная масса воды, когда под железными листьями пальм слышится, будто горы обрушились с неба.

Через минуту всё тихо.

Лишь студенистые пятна убегающих туч, да запах озона, да капли зажигают на листьях радужные огни.

Да ещё курятся горы. Курятся влажным и тёплым паром, будто огромные костры, залитые водой.

И ущелья прикрылись надолго седым плотным саваном тумана.

Деревушка мутным пятном тростниковых крыш прилипла у самой подошвы горы. Рядом тёмная бархатная зелень бананов, жёлто-серые коврики свежевспаханых полей и кругом чётко, пашней, подрезанные джунгли.

Видно отсюда, как плотным, зелёным телом облила она деревушку со всех сторон. Стоит забыть, полениться, оставить поля без работы на месяц, джунгли съедят их, ворвутся в деревню, раздавят постройки железными руками лиан, одичают бананы, и сравняется, мутно-зелёная, ровная, с плешинами одиноких утёсов спина джунглей.

Там и сям над зелёными пятнами встали тонкие столбики дыма.

Жгут уголь. Либо костры дровосеков, что готовят к отправке в долины штабели тековых брёвен.

Высоко, под самыми кронами, где лианы и сучья тонки, куда не доберётся ни медведь, ни пантера, возятся стаи обезьян. Швыряют скорлупы, плюются, сердито стрекочут.

Тяжело переваливается неуклюжий медведь-губан в белой манишке под чёрной пушистой шубой. И, потревоженный в своём гнезде, медник вспорхнул, раскачал будто в горле маленький гонг, предупредил джунгли металлическим звоном:

— Динь... донь... т-к! Динь... дон... дон...

Там, где тропа потерялась за ржавой мочажинной, среди белых колонок бамбука, вспыхнул треск. Звук чужой и тревожный, обитатели джунглей с таким шумом не ходят.

И тотчас беспокойно присел губан, потянул носом, привстал на дыбы, огляделся, одним толчком высокого зада спрятал в чаще пушистую шубу.

И замолчал медник. И, быстро переливая пятнистое тело, спешил переползти тропу тяжёлый, разрисованный питон.

Только обезьяны, неуязвимые в воздушном убежище, завозились ещё оживлённее, дразнили осторожных обитателей джунглей, швырялись орехами, строя страшные рожи, повисли на хвостах, заглядывали вниз, в чащу бамбуков, круглыми глазами, со жгучим любопытством человека.

Морщинистая, серо-стального цвета змея протиснулась между стволов бамбука. Покачалась с минуту из стороны в сторону. Обвила белый ствол, потянула и вырвала с корнем. И стало слышно, как чмокают, выбираясь из мочажины, огромные тяжёлые ноги.

Серая змея раздвинула чащу бамбука, и за нею продвинулся лоб, огромный, серый, с морщинистыми прижатыми ушами, с парой маленьких умных глаз.

Слониха тяжело вылезла из чащи, вынесла на затылке бронзовую фигуру туземца в лохмотьях, с тюрбаном на голове, со старым железным, вытертым до блеска руками поколений проводников, острым анком.

— Майль, майль! — туземец только постукивал по шее слонихи тупым концом анка. — Майль, майль! Так, так, мудрейшая из голубиц. Так, о гроза диких слонов! Так, украшение дворцовых стойл! Выдирай поживее зад из трясины, не топчись на месте, не вихляйся, как годовалый слоненок в кедде. Выбирайся скорее, не то я исколю твою глупую голову, как бабий напёрсток.

Из плетёной корзины-седла позади погонщика наклонилось бледное лицо с тёмными усами, в пробковом шлеме, обвитом кисеей. Европейец спросил с интересом:

— Это и есть та самая тропинка, Атта-Эн?

Проводник обернул морщинистое, коричневое, как некрашеное голенище, лицо с пучком редких волос на подбородке. Выразил всем своим видом крайнюю степень изумления.

— Та ли тропинка? Арре, ах, ах! Но ведь сахиб сказал ему, Атта-Эну, достаточно ясно: если мы будем на месте за полчаса до захода солнца, Атта-Эн получает целых пятнадцать рупий сверх условленной платы. Разве при таких обстоятельствах эта тропинка может быть иной, кроме той, что им нужно? Разве он, Атта-Эн, напрасно подставлял свою голову под удары колючих ветвей, чтобы сократить расстояние напрямиком, через джунгли.

— Стало быть, мы скоро уже на месте?

— Старая жена его, Атта-Эна, не успела бы сварить горсточку рису за то время, которое пройдёт прежде, чем сахиб убедится, что дух лжи никогда ещё не говорил устами Атта-Эна. А до места?... До места не больше полмили, вон от этого брода, к которому спускается уже Пиари... Сомало, сомало! Осторожнее, учтивейшая из самок, ходивших под уколами анка. Осторожнее, или я целую неделю не буду тебе вынимать заноз из ушей.

Европейец вернулся на своё место рядом с товарищем. Тот повернул бледное смуглое лицо под белым тюрбаном, сказал:

— Нам придётся ждать.

Европеец отозвался:

— Я порядком отвык от гор и от джунглей. Шесть лет знал только автомобиль да железную дорогу. Но как хорошо... Я помолодел на двадцать лет, по крайней мере. Этот воздух делает мускулы стальными.

— Кто же мешает тебе поселиться в горах навсегда?

Европеец улыбнулся. Молчал, пока слониха, осторожно нащупывая огромными тумбами-ногами острые камни, разбивала пену, переправляясь через горный поток, только что родившийся вместе с дождём. Поставила передние ноги на подмытый обрывистый берег разом, сильно, но осторожно качнув пассажиров, подтянула зад и мерно затопала, поводя хоботом, радостно расправив лопухами огромные уши, пожимаясь тяжёлым телом так, что из складок морщинистой кожи за ушами и на затылке посыпались застрявшие во время перехода орехи и цепкие сучья.

— Почему ты, Гумаюн-Синг, не поселился навсегда в Гималаях? — ответил наконец европеец вопросом.

Индус возразил сухо и коротко:

— На юге... братья мои.

— А у меня везде, — сказал европеец серьёзно. — Я никогда не пойму этого чувства, Синг. И не хочу понимать... Однако смотри, мы уж у цели?

Незаметно и неожиданно тропа перешла в твёрдое мощёное шоссе. Вернее, не шоссе, а мостовую, выложенную крупным истёртым плитняком.

Кое-где каменные плиты потрескались, и искривлённые руки ползучих лиан год за годом расширяли трещины. В ложбинках, где вода размывала мостовую, сильная зрелая поросль загородила дорогу зелёной стеной. Но даже джунгли до сих пор не справились с громадами тёсаного камня, и эта широкая улица в самом сердце джунглей, прямая и белая, уложенная чёрными длинными тенями деревьев, резала глаза, вызывала жуткое суеверное чувство.

Старая слониха свернула хобот кверху кольцом, весело затрубила, прибавила шагу, смело ступая в промоины, раздвигая чашу могучею грудью.

Словно огромное кладбище сбегало в джунгли с холма, куда привела мостовая. Странные белые ящики без крыш с давно обвалившимися стенами. Остатки каменных ворот, выщербленный временем мрамор упавших колонн, какие-то бесформенные каменные глыбы на перекрёстке улиц, прежде, должно быть, изваяния богов.

Уцелели ещё безголовые тигры у подножия холма. Выше остатки террас. Огромные мраморные водоёмы. Тот, что ближе к дороге, зацвел, затянут весь мутной зеленью. Другой, выше, прозрачен и чист, и по-прежнему льётся в него из обломка мраморной раковины, откуда-то сверху, из толщи холма, кристально прозрачная струя.

Ещё выше остатки колоннады, стрельчатых арок, нежно-розовые стены с ажурной резьбой просветов, тонкой, как кружево, остатки огромных слоновьих стоек. На железных петлях ещё уцелели последние ключья в труху сгнившего дерева, видны ржавые железные кольца, ввинченные в тяжёлые каменные тумбы.

И везде разбросаны купы одичавших роз, шапки разросшихся апельсиновых и лимонных деревьев, старых, кряжистых, последними выросших из семян давно умерших садов.

Пассажиры спустились на землю. Европейец в пробковом шлеме разминал затёкшие ноги, с любопытством разглядывал гирлянды красных и жёлтых лиан, будто чья-то рука, рука художника развесила их по карнизам развалин. Индус глядел вниз, в сторону сбегающих с холма построек покинутого города, и смуглое лицо его бледнело заметнее, и сухая, жёсткая складка очерчивала губы.

— Сколько лет этому городу? — спросил европейец задумчиво.

Индус отозвался:

— Спроси тех, что разрушили Джейпур и Дели. Спроси тех, что улицы мостили золотом, жгли библиотеки, обсерватории и украшали крыши пагод полумесяцем. Больше тысячи лет на картах это место обозначено сплошным зелёным пятном. Прежде, мой дед ещё помнил, с этого холма до того вон ущелья были видны постройки. За каких-нибудь семьдесят лет джунгли съели, превратили в кучи щебня и мусора, на теперешний счёт, десять кварталов. Разочти, каков был весь город за тысячу лет.

— Рай для археолога, — задумчиво выронил европейец.

Глаза индуса сердито вспыхнули.

— Для археолога? Перевезти полдюжины обломков в Мадрас или Калькутту. Наклеить ярлыки и спорить годами о том, заимствованы ли они у персов или архитекторов Акбара? Поместить заметку в Бедекере для нового маршрута компании Кука и загадить этот холм сверху донизу жестянками из-под консервов, окурками, плевыми и автографами?

Атта-Эн беспокойно ёрзал на затылке своей слониhi. Поглядывал на горизонт, где над зубчатой щёткой лесистого хребта повисло солнце, приложил руку ко лбу, жалобно перебил:

— О, покровитель бедных! Атта-Эн простой погонщик-вожатый. Но, когда чокает медник — глупая птица, мудрый человек глядит под ноги, не наскочить бы на кобру. Да позволено будет ему напомнить сахибу и тебе, магараджа, что солнце садится. И если они хотят осмотреть развалины дворца вон там, на вершине холма, пусть торопятся, ибо после захода солнца здесь оставаться небезопасно.

— А мы как раз хотим переночевать на холме, — возразил с улыбкой европейец.

Вожатый от ужаса чуть не свалился с затылка слониhi.

— Арре, арре — ай-яй! Сахиб, разумеется, шутит. Атта-Эн живёт в джунглях пятый десяток, но, да хранят горные боги сахиба, ни разу не видал человека, который мог бы похвастаться, что ночевал на холме. Даже нечистые муллу-куррумбы, порождения ночи, которые умеют убивать человека змеиным взглядом, не ночуют на холме. Даже могущественные праведные тодды, что живут там, в долине, что заклинаниями обращают в бегство тигра и не знают другого оружия, кроме ореховой палочки, и те в поисках отбившегося буйвола ночью обходят проклятый город подальше. Не раз смельчаки из их же деревни отправлялись сюда на поиски золота и драгоценных камней — старики говорят, будто весь холм изрыт ходами, сокровищницами магараджи, что правил городом. Троих отыскали на куче щебня, раздувшихся и почерневших, искусанных змеями, а четверо как в воду канули. И трупов не нашли.

— И всё-таки мы здесь останемся на ночь, — отозвался сахиб, улыбаясь.

— Но сахиб, вероятно, не знает, что в здешних местах водится кое-что поопаснее кобр и питонов. Что скажет сахиб, если Атта-Эн побожится, что нет места, которое так бы любили нечистые писахи, чем проклятый город с пагодами без крыш. Каждый ребёнок знает, что

писахи, раз уж напали, не отстанут от человека, пока не выпьют из него всей крови.

— Ты вернёшься за нами с восходом солнца, — перебил причитания вожатого европеец.

— Вернуться завтра? Атта-Эн согласен возвращаться сюда по утрам целый месяц, но, простят его боги, он сомневается, что сахибу понадобятся тогда чьи-либо услуги, кроме могильщиков. Атта-Эн говорит не для того, чтобы сахиб сегодня же вынул обещанные пятнадцать рупий. Он всё равно пожертвует их наутро брамину за упокой сахиба, покровителя бедных.

Европеец поспешил вынуть кошелек. Вожатый грохнулся на мостовую в почтительном поклоне, с суеверным ужасом оглядел на прощанье обречённых, мячиком взлетел обратно на затылок старой слониhi.

Солнце прятало уже за горизонтом потускневшую спину.

Тени протянулись длиннее, почернели. И вдруг стали гаснуть, сливаясь с темнотой, что на глазах пропитывала воздух.

Европеец вопросительно повернулся к индусу.

Тот внимательно огляделся, повернулся к золотисто-багровой луне, выдвинувшей из-за леса вспухшее покривившееся лицо, уверенно двинулся мимо цистерн, сквозь чащу одичавших апельсиновых деревьев.

Мраморные стены мавзолея потрескались. Розовели под самым карнизом сквозь ажурное кружево резьбы быстро тускнеющие краски заката. На месте, куда провалилась крыша, из кучи мелкого щебня скалили огромные клыки обломки колонн.

Тьма плотно задёрнула углы, и нельзя было разобрать, что чернеет под аркой, на востоке, развалины мраморного трона или обезображенный временем каменный идол.

Европеец подошёл к куче мусора, выбрал один из обломков покрупнее, хотел уже сесть на него. Индус предостерегающе повысил голос:

— Доктор, осторожнее. Ты забыл, где находишься.

Индус подошёл к куче щебня в свою очередь, вынул из-за пазухи белого туземного костюма маленькую трость, обвёл в воздухе круг, сделал несколько странных, трудно уловимых движений простёртыми руками. Открыл рот, произнёс негромко короткую фразу: сплошь шипящие и свистящие звуки.

И тотчас рядом, под кучею щебня и по тёмным заваленным кирпичами углам, родились шуршащие торопливые звуки, свистящие тихие вздохи, мелкая осыпь посыпалась там, где в стенах, у самого пола, дождевая вода выщербила стоки.

Индус дождался, пока шуршанье затихло за стенами, опустился на камень рядом с товарищем. Тот с улыбкой заметил:

— «Змеиное слово»?

— Я знал его раньше, чем нам с тобой открыло посвящение. Знал ещё в детстве от тодда — пастуха. Тодды знают «слова» и на змей, и на тигров. Ты знаешь, у них нет даже оружия. Ореховая палочка, не больше, чем у меня, вот такая же точно. С ней тодда разыскивает заблудившихся буйволов по всем джунглям, не боясь ни пантер, ни скалистых питонов... Ты слышишь?

Сдавленное ахающее рычание вспыхнуло совсем близко, должно быть у подошвы холма, может быть даже в чаще апельсиновых деревьев, окружающей водоёмы. Индус прислушался, сказал тихо:

— Тигр.

И было слышно, как близко треснула чаща под тяжестью тела.

Золотой диск луны стал против окна, всколыхнул темноту внутри развалин. В освещённом пространстве неслышно заметались крылатые тени вампиров.

Козодой, в погоне за бабочкой, нырнул через крышу, чуть не задел сидевших крылом, с писком кувырнулся в воздухе, исчез, зашуршав под карнизом. Долго сидели молча, слушали жуткие загадочные звуки, что рождает ночь в глубине джунглей.

Кто-то сердито сопел в кустах, должно быть дикобразы. Кто-то, может быть птица либо волчиха, жалобно стонал — точно ребёнок всхлипывал. Со стуком и шорохом посыпались с дерева орехи, суматоха вспыхнула где-то под плотной листвой древесной вершины, гортанные тревожные крики, испуганный клёкот. Ветви затряслись под прыжками.

Крупный питон схватил уснувшую близко к стволу молодую обезьяну.

Индус первый нарушил молчание. Спросил осторожно, с запинкой:

— Ты... совершенно спокоен?

Европеец повернулся к товарищу с молчаливым вопросом. Индус прибавил:

— Я имею в виду твоё неожиданное решение.

— Почему же неожиданное? Разве это не последний этап большинства посвящённых? Когда-то я пытался начать с него, почему мне им же не кончить? Не ты ли сам, неделю назад, укорял меня за привязанность... к жизни...

Индус на миг обернулся к северу, сказал, благоговейно понизив голос:

— Но тебя освободили оттуда...

они ...

Европеец устало возразил:

— Я взял на себя задачу не по силам, брат. Да, я думал иначе. Там, где ты пробыл только полгода, в мои страшные одиннадцать лет, вернее, в сплошную одиннадцатилетнюю ночь я рвался на волю, к жизни, к людям. Страшной ошибкой казался мне подвиг посвящённых, обрекших себя на вечную ночь... Я строил тысячи планов, как, если случай, ошибка, чудо освободят меня, я приду в мир, просветлённый великим знанием, как открою путь ищущим могучим словом того, кто

знает ...

— Ты сделал многое.

— Э, полно... Написал дюжину работ, оплётанных тупицами и за ними освищенных толпой. Под кличкой шарлатана...

Индус перебил серьёзно:

— Брат. Ты не прав. Твои научные труды оценены, ты носишь звание профессора высшей школы.

Европеец горько засмеялся.

— Французский профессор и русский приват-доцент? А ты имеешь понятие, чему я обязан этими званиями? Дорогой друг, те работы, которые я защитил на соискание учёных степеней, выполнит любой ремесленник. Попробуй я заикнуться единым словом о том, что открыло мне посвящение, да не было бы бульварного листка, где полуграмотный репортёр не закидал бы меня грязью. Разве меня пустили бы на кафедру?

Европеец помолчал.

— Десятки светлых умов, — начал он снова, — люди, уже успевшие открыть факультетской науке самые широкие горизонты, не смеют коснуться той области, что открывает совершенное знание. Целльнер объявлен сумасшедшим. Круксу едва ли не снова пришлось завоёвывать место в науке после опытов с тем, реальность чего сумеет доказать низшей степени чёла. Леман систематизировал труды целого ряда виднейших имён. Но разве попробовал он намекнуть даже на то, что учение о жизни неорганического мира — в полном объёме наследство умершей науки, погибшей культуры. Нет семьи, где бы не было в настоящее время на любом языке священных книг древности. Десятки учёных пережёвывают вопрос о степени древности, спорят с пеной у рта о том, написано ли пятикнижие Моисея одновременно или на протяжении тысячелетий целым рядом пророков, считают третью книгу Ездры подложной потому, что в ней предвосхищены символы апокалипсиса, и забывают о том, что символы заключительного откровения священной книги рассеяны, начиная с первой её страницы, древность которой не возбуждала сомнений ни в ком.

— Люди слепы.

— Неправда. Не слепы, а закрывают глаза. Миллионы миров, доступных глазам непосвящённого, окружают нашу планету. Все знают, что наша планета — песчинка, что доступны даже нашим научным аппаратам огромные, всепроникающие, невидимые для глаза миры, что сами мы с нашей планетой погружены в реальный, деятельный, бесконечно разнообразный мир невидимой сущности. В учебных заведениях обязательны серии опытов с формами этой сущности под именем икс-лучей, альфа-лучей и так далее. Герц опрокинул вверх дном понятие об электричестве; физиология проследила путь ощущений до конечного этапа, малых пирамидальных клеток мозговой коры; элементарные учебники твердят о том, что мы не видим, не слышим, не ощущаем десятой доли того что окружает нас, и, несмотря на это... Несмотря на это, стоит поднять голос о том, что внутренняя сущность человека переживает тело, стоит лишь формулировать открытия той же факультетской науки определённой фразой: видимый, осязаемый мир проникнут миром невидимой сущности, более деятельной, более разнообразной, более стройной, формулировать то, о чём долбит каждая отрасль науки в отдельности, и тебя зашвыряют грязью.

Индус долго молчал. Возразил неуверенно:

— Для людей не пришло ещё время.

— Оно не придёт никогда, — перебил доктор порывисто. — Оно не придёт теперь, как не пришло для тех, в знания которых нас посвятили. Приходила тебе в голову, брат, такая мысль... Если бы погибшая раса, перед культурой которой меркнут завоевания нашей науки, шла в своём развитии иным путём, не тем, что идёт современность, разве эта раса могла бы погибнуть целиком в геологической катастрофе, оставив ничтожнейшую кучку посвящённых? Духовные руководители погибшего «красного человечества», разрешившие проблему воздухоплавания уничтожением тяжести и вечного двигателя применением этой последней, могли не предугадать этой катастрофы? Я убеждён, они кричали о ней, как будут кричать

через пять — десять лет современные нам светлые умы, и так же глумящаяся толпа желудков встречала их насмешками и свистом... Недолго ходить за примером: ты читал заметку профессора Небля?

— Небля, из Филадельфии?

— Ну да. Небль... кажется, уж имя, авторитет. Мало того, сообщению его дал место на своих страницах такой солидный орган, как «Американский геологический журнал». Почтенный учёный с цифрами и фактами в руках предупреждает о том, что знаем мы, посвящённые, о страшной катастрофе, что постигнет Европу в 1972 году, когда очередной вздох нашей планеты поднимет дно Атлантического океана. Мы с тобой знаем, что Небль ошибся всего на несколько лет. А каким изумлением встретила сообщение Небля европейская пресса. С каким презрением отнеслись европейские авторитеты, те самые, что в своих же учебниках доказывают неопровержимыми данными, что Париж, по крайней мере, три раза был дном морским. Все знают, что это

было , но допускать, что это

будет ...

Европеец порывисто поднялся с камня, говорил, не сдерживая волнения:

— Лучшая иллюстрация... Легенда о чудовищном потопе живёт на Яве, на Алеутских островах точно так же, как в Индии, Палестине и Вавилоне. В древнейшей Америке Ной выступает в лице Кокс-Кокса. Маорийцы тихоокеанских архипелагов рядом с легендой о потопе воспроизводят в точности, почти слово в слово, миф о Прометее в легенде о птице Оовеа. Платон открыто называет Атлантиду, погибшую под волнами океана в геологическом повороте. Он точно устанавливает географическое положение материка, описывает города, постройки, культ, образ правления. В именах атлантских «царей» под обычным для древности шифром — эпонимами, мы знакомимся с историей культуры атлантов, узнаем, что древнейший Египет был колонией атлантов. И наши учёные, антропологи Топинар и Пеше, без всякой задней мысли удостоверяют, что красные потомки древнейших египтян — феллахи, несмотря на попытки слияния со стороны позднейших завоевателей, до сих пор тот же чистый тип, что на древнейших памятниках. Но ладно... Сотни лет Атлантида Платона фигурирует в качестве даже не легенды, а утопии, политического этюда, потом мало-помалу раздаются голоса о том, что многое говорит в пользу следов материка — моста между Юкатаном и Африкой.

Доктор Пленджен посвящает целую жизнь исследованию дебрей Юкатана. Не цифры и предположения, а убедительнейшие в мире доказательства обнаруживает он: каменные памятники, иероглифы, азбуку — родоначальницу египетских письмен; расшифровывает космогонию древнейших обитателей Юкатана и убеждается, что и космогония, и история последних лишь повторение так называемого «легендарного периода» египетской истории, периода до таинственного законодателя Менеса.

Но... доктор Пленджен интересуется теософией. Его открытия оплёваны, освистаны, их просто не обсуждают серьёзные авторитеты. Вступать в полемику с субъектом, допускающим существование загробного мира? Но проходит несколько лет, и профессора Микгам и Монсоньи получают возможность и средства исследовать на широких началах обнаруженные на дне Карибского моря развалины целых городов. И знаешь почему?..

Европеец рассмеялся сухим, горьким смехом:

— Туземцы Юкатана вылавливали из моря драгоценные вазы и кубки во время рыбной ловли. Микгам и Монсоньи, исследовав дно и найдя там развалины, предложили группе капиталистов и инженеров экс-плу-ати-ровать драгоценности погребённых городов. Вон он,

единственный двигатель, на который может опереться и положиться современная наука.

Индус возразил тихо и грустно:

— Брат. Не говорил ли ты сейчас, что везде твои братья?

— Что же из этого? Я не жалел сил, чтобы открыть этим братьям глаза, они швыряли грязью в меня... Но, клянусь, не чувство злобы, не чувство оскорблённого самолюбия мной руководит. Я устал... Я не вижу путей, какими мог бы воздействовать на них. Молча, опустив руки, глядеть, как идут к гибели братья мои, я не могу...

— И... уходишь сам?

— Ухожу для них же. Тот, кому поступком моим я верну свободу, сделает не меньше меня. Мой голос потерял убедительность. Да и имел ли когда?..

— Тот, кому ты возвращаешь свободу, слишком молод.

— Тем лучше. Он сумеет ближе подойти к пониманию тех, в ком я хотел видеть своих братьев; для них он знает довольно. А потом... потом, ты упускаешь из виду, что закон посвящения предоставляет мне право остаться при возвращённом в мир почти два года.

— Два года? Они промелькнут как один день.

Европеец отозвался сразу упавшим голосом:

— Не будем об этом говорить. Я обдумал свой шаг. Но... тебе не понять меня. В твоём сердце ещё умещается чувство национальной вражды, ненависть к угнетателям, а я... Я давно потерял способность возмущаться несправедливостью, насилием. Жива во мне только ненависть к тупости человеческой, да и то... Не будем вспоминать. Смотри, как высоко поднялся месяц. О нас с тобой, должно быть, забыли?

Тихий, будто осенний утренний ветер в сухих листьях, голос прошелестел за спиной по-санскритски:

— Братья ждут хранителей священного плода.

Высохшая бронзовая обнажённая фигура с узкой повязкой на бёдрах отбросила на пол длинную тень. Откуда она появилась? Не было слышно шагов. И сидели ожидавшие лицом к входу. Долго ли стояла она здесь, за спиной, безмолвная, призрачная, как собственная тень? Слышала ли, о чём говорили?

Оба поднялись с камня, в глубоком поклоне склонились пред обнажённой фигурой. Голос прошелестел снова:

— Хранят ли пришельцы при себе то, что им послано братьями?

И европеец, и индус достали половинки странного, смахивающего на огромный грецкий орех, плода с мягкой пахучей сердцевинкой, протянули посвящённому.

Тот принял половинки плодов, и тотчас сухие тёмные пальцы его, будто паутиной, оделись мягким, едва заметным сиянием.

Внимательно осмотрел, сблизил с другими двумя половинками плода на высохшей ладони, и тотчас, будто толкнул кто, части прижались друг к другу, и когда прибывшие вновь ощутили в руках скорлупу странных орехов, те оказались цельными, не ощущалось шва и нельзя было раздавить их, раздвинуть на прежние части.

Тёмная фигура неслышно отступила в темноту, в ту сторону, где чернели мутные контуры идола, трона, быть может просто обломка толстой колонны.

Шурша щебнем, натываясь на острые осколки мрамора, двинулись за провожатым, окунулись в тень, подойдя вплотную, убедились, что чернели у стены остатки давным-давно разрушенного идола. Осталась половина туловища, приблизительно до груди, сложенные в позе «лотоса» ноги, по бокам выступали обломки нескольких, веером расположенных, согнутых в локте рук.

Но провожатого здесь уже не было. За остатками изваяния сплошная стена. На минуту остановились в недоумении...

Внезапно ощутили жуткое чувство, будто земля уходит из-под ног, и тотчас вместе с бесшумно двинувшейся каменной плитой опустились глубоко вниз, в абсолютную тишину.

Машинально сделали шаг вперёд, ощупью пытаюсь определить направление подземелья, и через минуту услышали, как над головой мягко стукнула, поднявшись на место, доставившая их сюда плита.

Знакомый уже голос издали произнёс:

— Чистый сердцем побеждает тьму.

И тотчас в воздухе вспыхнул мягкий голубоватый свет. Именно в воздухе. Не было видно источника света. Призрачное сияние, казалось, исходило от стен, призрачным сиянием пропиталось пространство вокруг, сами тела, руки и ноги идущих оделись тонкой белесой паутиной, и сразу бросалось в глаза, что ни один из предметов не отбрасывает тени.

Шли долго, тесным проходом с выщербленными, отсыревшими каменными стенами. Несколько раз спускались по широким ступеням, поворачивали под разными углами, и в поворотах приходилось протискиваться боком между осклизлыми стенами, сдвинутыми почти вплотную.

Двигалась впереди неслышными шагами, будто не переступая, обнажённая костлявая фигура проводника.

Раз проводник остановился перед глухой стеной. Шевельнул чуть приметно руками, сделал неуловимый жест, и так же бесшумно отодвинулась в сторону каменная глыба, ушла в стену, открыла чёрный зев соседнего подземелья и тотчас снова задвинула его, лишь только последний из пришельцев переступил порог.

Шли новым подземельем, по крайней мере, десять минут.

Стояла тишина.

Спустились ещё ниже; своды подземелья раздвинулись; призрачный свет потускнел, но было видно, когда подошли к сводчатой двери, что в стенах вынуты полки-ступени, и на минуту приласкали глаз привычные очертания кожаных корешков прочно переплетённых книг, футляров со свитками, тисков с зажатыми кипами пожелтевших таблиц и дощечек.

Обнажённый проводник остановился перед дверью, стукнул семь раз в почерневшее дерево, прошелестел своим беззвучным голосом:

— Дарматраданам пуричам тапаза хата.

За дверями голоса нескольких человек в унисон отозвались:

— Атманам крейза йочате... Дахаз съявиспокапт.

Проводник начал опять по-санскритски, с оттенком вопроса:

— Ищущий побеждает тьму.

Хор голосов за дверью возразил стихом, с которого начал проводник.

— Дарматраданам пуричам тапаза хата кильвизам... паралокам найати асу базунгам касаририпам.

Проводник настаивал:

— Обрётший знание приобщается к свету.

За дверью ответили молчанием. Родилось движение. Кто-то выронил старческим шамкающим голосом:

— Ам!..

Что-то с металлическим звуком загремело, должно быть засов, и прямо в лицо пришедшим тёплой волной пахнул яркий, слепящий глаза, так не похожий на призрачное белесое мерцание подземелья, золотой солнечный свет.

II

Сначала он пробовал отсчитывать время, дни...

В тот последний момент, когда молчаливые люди в жёлтых колпаках, с бесстрастными скуластыми пергаментными лицами, люди, в руки которых он, ослеплённый горем, так безрассудно кинул свою жизнь, готовились замуровать последний камень в его гранитной келье, его озарило разом сознание ошибки, сознание бесцельности того, на что решился. Последний камень ещё задвигали. Хвати у него в ту минуту голоса крикнуть, явись у него мысль о том, чтобы высунуть руку секундою раньше, он не потерял бы сознания, не очутился бы там, где долгими часами, днями, быть может годами уже, тянется страшное, бесформенное в темноте, потерявшее смысл и образ время.

Неуловимое время.

Он долго пытался поймать, подчинить его себе.

Он хорошо помнит минуту, когда пришёл в себя, в непроницаемой тьме испытал ощущение, хорошо знакомое людям.

Проснулся, или во сне окружает эта звенящая молчаливая темнота?

Где он, что с ним?

Уснувшая память медленно ворочала тяжёлые, тусклые, расплывчатые, быстро ускользающие образы.

Машинально пошевелил рукой — прикосновение холодного камня вернуло к действительности.

На один миг ощущение острого, бесконечного ужаса — и сразу накрыло и притупило чувства сознание бесполезности сопротивления, невозможности борьбы, бесповоротности совершавшегося.

Он может кричать, биться в этом каменном мешке, в гробу, выбитом в толще скалы. Там, за твёрдой гранитной грудью толстой стены, услышат, быть может, глухие беспорядочные звуки. Люди с пергаментными лицами, спокойные и бесстрастные — разве они не привыкли к этим звукам? Разве в толще той же скалы не вырублен целый ряд таких же замурованных каменных гнёзд? Разве сам он месяц тому назад не убедился, что эти гробы обитаемы. Его водил тогда в подземелье человек, называющий себя именем доктора Чёрного.

Будь он проклят, этот человек, первый натолкнувший его на страшную мысль.

Вспыхнула в памяти картина: седые горбатые стены подземелья, чуть освещённого жёлтым бумажным фонарём, ряд отверстий в стене, под ними каменные выступы — полочки, как у скворечен.

Доктор Чёрный чуть слышно скребёт ногтем по выступу, и из отверстия робким, неуверенным движением вылезает что-то живое, серое; высохшая рука, затянутая в перчатку, минуту шарит на полке, висит в воздухе, всё время дрожит мелкой бессильной дрожью. И снова спряталась. Снова пустыми чёрными глазками глядят в коридор подземелья страшные каменные скворечни.

В его келье такое же отверстие. Где оно? Когда свет ещё проникал в скорлупу этого каменного яйца, он разглядел сток в одном из углов. В сводчатом потолке тоже чернело, должно быть вытяжная труба.

Он долго шарил по вогнутой боковой стене, отыскал маленькую круглую амбразуру, торопливо сунул в неё руку, сейчас он опять увидит свет. Пусть тусклый, неясный, жалкий свет фонаря, всё-таки лучше этой мёртвой, каменной, давящей темноты.

Рука встретила плотную, упругую заслонку. С силой надавил её, и заслонка раздалась сразу, пропустила кисть, скользким, мягко давящим кольцом охватила предплечье.

И в тот момент, когда пальцы ощутили свободу, разжались на воздухе, снаружи, мышцы плеча плотно закупорили изнутри отверстие наглухо. И мозг пронизала простая и страшная мысль: никогда в жизни он не увидит света.

Когда это было?

Сначала он считал дни по порциям риса.

Обострившийся слух чутко ловил царапанье каменной полки в ту минуту, когда на неё ставили чашечку с рисом, маленькую деревянную лакированную чашечку, вроде тех, что даются премиями в чайных магазинах. Быстро высовывал он руку в плотной перчатке. Пробовал высунуть голую руку, хоть этот клочок тела выкупать в жалком мерцающем свете фонаря. Цепко ухватился за чашку обнажёнными пальцами и тотчас почувствовал, как чашку настойчиво тянут назад. Отобрали... И жёсткая, невидимая ладонь выразительно погладила ему пальцы и кисть: дескать, надеть перчатку. Он надел и, снова высунув кисть, получил свою порцию беспрепятственно.

По этим порциям он пытался определять время.

В первые дни, может быть месяцы, ему, после риса, в такой же лакированной чашке давали жидкость, было похоже на слабый, но приторно пахнущий сладковатый чай.

Чашечку рису и чашечку жидкости он отмечал за день.

Но потом жидкость перестали давать, он сам больше не чувствовал жажды.

И промежутки между чашками варёного рису сразу разрослись для него до чудовищных размеров.

И тогда вспыхнула мысль: он ведь не знает наверное, сколько раз в сутки ему приносили пищу, он догадывался только.

Сначала могли приносить чаще, два раза в сутки, потом постепенно сократили до разу, стали давать, возможно, через день, через два.

А он всё так же царапал стену своими чёрточками — календарём, долбил осторожно при помощи крошечного осколка того же гранита. Осколок колот ему тело, когда в первый же день он пытался прилечь на каменном вогнутом полу. Тогда он с сердцем отшвырнул осколок. Зато потом, когда пришло в голову воспользоваться этим осколком, с каким ужасом шарил он по полу, дрожал при мысли, что осколок свалился в бездонный сток.

С какой любовью нащупывал он еле заметные бороздки, отсчитывал сутки, сбивался, начинал сызнова, говорил сам с собой, старался не упустить знакомых слов.

И только когда чёрточки потеряли значение, когда опустошило сердце сомнение в правильности счёта, тогда особенно ярко, понятно и близко ощутилась относительность, произвольность того, что привык называть временем. Было такое чувство, будто и позади и перед самым лицом, под ногами открылись бездонные чёрные пропасти, сдвигались ближе друг к другу, соприкоснулись вплотную и где-то внутри, в его теле, вошли одна в другую.

И с этой минуты словно открылась заслонка в мозгу, стало понятно, что два разных слова определяют одно и то же: «вечность» и... «никогда».

Он помирился с этим не сразу.

Ослабевшими пальцами отыскивал пульс на руке или на шее, считал сотни и тысячи, до пяти тысяч двухсот ударов и тогда загибал костлявый палец и считал в темноте новый час.

Скоро убедился, что напряжение мысли для счёта само повышает пульс.

К концу десятой тысячи артерия трепетала с такой быстротой, что не успевали оформиться в мозгу названия чисел.

И появилась одышка.

И перебои сердца разрушили систему счёта.

Покорился.

И сам, словно расплывшись в темноте без пространства и времени, отдался новой форме существования.

Понятие о пространстве исчезло также.

Он ощупывал стены, везде одинаково выгнутые, сводом исчезающие в потолке, таким же сводом гладким, с неуловимой кривизной переходили в пол и с другой стороны снова поднимались в стену.

Напрасно отыскивал ощупью угол, резкую грань, какой-нибудь пункт, про который можно было бы сказать: «Вот начало», на который можно было бы опереться.

Даже края стока были сточены на нет...

И когда он начинал ощупывать гладко шлифованную поверхность стены, в голову протискивалась мысль, не ощупывает ли он пол. Сразу терял представление, где верх и где низ. Может быть, скорлупа каменного яйца вращается? При мысли об этом вращении вспыхивало особенно ярко представление о том, как покачнулся, начиная вращаться, чудовищный гранитный массив горы, в которой выбиты кельи.

И тогда начинала кружиться голова, страшная, обессиливающая тошнота подступала к горлу и, должно быть, надолго терялось сознание, если только можно назвать сознанием мутные контуры ощущений и образов без пространства и времени.

Было одно положение тела — положение «падма-азана». Он изучил эту странную позу ещё на воле, давно, под руководством того, кто называл себя доктором Черным.

«Падма-азана» проясняла память, снимала с рассудка мутную пелену безумного отчаяния, возвращала способность контроля над движением мысли. Сначала он прислонялся в этой позе спиной к стене, потом мышцы постепенно привыкли, и бесконечно долго мог он сидеть на кожаной, обтянутой плотным шёлком подушке, набитой священной травой «куза». Бесконечно долго сидел он, подвернув ноги в позе буддийских статуй, прижав пятку к нижней части живота, сблизив там же ладони опущенных рук, вперив в темноту невидящий взгляд расширенных глаз. Он знал, что стоит ему сосредоточить этот взгляд на таинственной точке над переносьем, и мысль надолго утонет в бесформенной бездне небытия, не освещённого памятью.

Он сознательно медлил.

Успокоенный, подкреплённый положением тела, он просто закрывал глаза, и тотчас целый рой живых, красочных, уплотнённых темнотой и одиночеством образов высыпала ему память.

Видел себя не иссохшим, обессиленным, обезумевшим в темноте скелетом, видел высоким сутулым молодым человеком в форменной тужурке со светлыми пуговицами, с синими клапанами петлиц на воротнике.

Видел себя в пальто, в студенческой фуражке, с портфелем под мышкой, шагающим по гранитной набережной, мимо розовых гранитных сфинксов, щурящих каменные слепые глаза на бурые волны реки.

Видел купола церквей, кресты колоколен, горящие на фоне бледного северного заката, контуры многоэтажных домов, расплывшиеся в лиловой дымке на горизонте.

Видел блестящую золотую оправу выпуклых очков, редкую седую бородку, лысину, склонённую над разграфленным листом бумаги. Вспыхивал в ушах скрипучий голос профессора-экзаменатора:

— Господин Дорн? Так, кажется? Ну, что вы имеете мне сообщить о способе размножения *Ascaris megalocéfala*?..

Видел себя за микроскопом, рядом с десятками таких же склонённых голов, стриженных, всклоченных, кудрявых, гладко прилизанных. Потом из темноты выступали розовые в лучах заходящего солнца колонны соснового бора. Ухо ловило мягкий мутный шорох морского прибора. Перед глазами веранда деревянного бревенчатого дома с широкими итальянскими окнами. Рядом глубокое тростниковое кресло. Брюнет с бледным лицом, с синими большими глазами, тот самый, что носит имя доктора Чёрного, что-то говорит, что-то показывает, осторожно передвигая полуистлевшие листочки в деревянных тисках. Ещё дальше шезлонг...

Он видит плетёную, на пол откинутую подножку, лакированный тупой модный носок крошечной дамской туфли, абрис высокого подъёма под тонкой паутиной чёрного чулка, мягкие складки тёмного платья. Он видит всю тонкую, стройную, устало откинувшуюся в шезлонге знакомую фигуру, смуглые, золотисто-бронзовые обнажённые руки, тонкие пальцы, на мизинце чуть заметна тонкая золотая проволока-кольцо с мрачно мерцающим глазом чёрного камня.

Видит смуглую шею, подбородок, губы, обнажившие тусклый жемчуг зубов... Дальше темнота.

Мучительно напрягает память, зовёт весь облик лица, весь образ, такой знакомый и такой неуловимый...

И внезапно будто кто сдвинул, сдёрнул пелену, под которой скрыто лицо. Знакомая бронзовая головка с массой тяжёлых, схваченных небрежным узлом вьющихся волос откинута на спинку шезлонга. Губы полуоткрыты, из-за них тускло мерцает жемчуг зубов. Но зубы стиснуты странно. Между ними закушен вспухший кончик языка. Складка на смуглой шее там, где впился в тело тоненький шёлковый шнур. Серая, тёмная сталь гранёной пластинки торчит сзади посиневшего уха. И в самую глубину мозга глядит ему мёртвый, остановившийся взгляд потускневших, расширенных, чуть выпученных глаз.

Тогда ужас, отчаяние швыряли тело с подушки. Катался по холодному каменному полу, царапал худое тело, выл и кричал. И тяжёлая масса гранита съедала крики, и жуткое беззвучное сипенье висело в страшной скорлупе до тех пор, пока обессиленный не терял способности двигаться, погружался в тёмную бесформенную бездну полусна, полубеспамятства.

Сначала обострился слух, осязание.

Слышал не только царапанье каменной полки, на которую ставили рис, слышал шаги, скрип дверей в подземелье, знал, что идут к страшной горе через двор из главного здания монастыря.

И слух слился с осязанием в новое, странное чувство.

Звуки усваивал. Но потерял представление о характере, разнице тона. И, касаясь кончиками пальцев наружной стены, мог уловить отдалённые шаги в той же окраске и так же легко, как настораживая ухо.

Повысилась чувствительность кожи.

И лёгкое прикосновение к шву кожаной подушки, к шероховатостям шёлка, прикосновение, которого прежде не удалось бы довести до сознания, вызывало теперь в теле ощущение разряда, мягкого, но сильного взрыва.

Но шаги по направлению к горе раздавались всё реже.

Реже скреблась о камень чашечка с рисом. И шум, ею производимый, уже казался настороженному мозгу назойливым и трудно переносимым.

И реже меняло положение тело, привыкшее к «падма-азана».

В особенности с тех пор, как стало перерождаться зрение.

Он ждал этого перерождения раньше.

Он знал, что глаз привыкает к темноте, что существует масса животных, усваивающих гаммы

незримых колебаний, которые с трудом усваивает фотографическая пластинка или болометр.

Он знал, что не одно чутьё и слух помогают почуять собаке и кошке человека издали в самую тёмную ночь.

Наука пыталась доказывать, что зрение у многих ночных животных в полном объёме заменено осязанием. Пускали нетопыря с завязанными или залепленными воском глазами летать среди протянутых в комнате нитей с колокольчиками.

Но Дорн знал ошибку подобных опытов, знал, что сетчатку животного только свинец да известь могли изолировать от тонких проникающих световых колебаний.

Он ждал той минуты, когда великий закон применения откроет его зрению новый, людям невидимый мир.

Но отчаяние толкало его биться головою о камень, упорная работа мозга переполняла кровью сосуды, и даже в минуты относительного покоя он испытывал лишь боль в напряжённых глазах и в затылке, и с тяжёлыми толчками пульса изнутри на глаза набегала ещё более плотная, непроницаемая темнота — было ощущение, будто тьма вокруг дышит, жуёт, сжимая и разжимая невидимые челюсти.

Впервые он заметил странное явление после долгих часов, а может быть, дней, проведённых неподвижно, в «падма-азана», в мутном, тупом состоянии полусна, что обволакивало и тело и сознание всё чаще.

Очнувшись, продолжал прямо перед собою глядеть расширенными глазами, он уловил, ещё не поняв значения этого факта, уловил более тёмное овальное пятно на более светлом мутно-сероватом фоне.

Пятно упорно стояло перед глазами, не колыхалось, не меняло очертаний, как меняли причудливые фосфены, вспыхивавшие в глубине мозга под ударами пульса. Он несколько раз смигнул, увлажнил глаза. Снова увидел перед собой чуть растянутый мутный чёрный эллипс.

Наконец понял. И с звериным радостным криком сорвался с подушки, бросился на колени к чёрному пятну, протянул дрожащую руку, затаив дыхание, с ужасом ждал, что контуры пятна помутнеют, сольются с тусклым окружающим мраком.

Нет...

Чёрный эллипс превратился в такой же круг, и, наклонившись над ним, Дорн ощутил из глубины запах — за этот запах он не отдал бы теперь запах цветов — далёкий, но явственный, острый и тяжкий запах аммиака и разложения.

Он увидел отверстие стока.

Увидел...

Он упивался этим словом бесконечно долгие часы.

Сидя на своей подушке в «падма-азана», терял и отыскивал мутные пятна стока и вытяжной трубы в потолке. С любопытством наблюдал тусклое мерцанье мелких кристаллических граней, вкрапленных в гранит, мерцанье под тонкой, серым, едва заметным сияньем, фосфоресцирующей паутиной, вернее — слизью, что покрывала теперь гранит.

Наблюдал часами силуэты собственных пальцев, окружённых мягким перистым свечением,

тускневшим при напряжениях мысли и загоравшимся ярче при сокращении мышц.

Постепенно отличил более светлые пятна на одетом серой мерцающей паутиной теле, мутное, более плотное, сияние «под ложечкой», внизу живота, около губ, вокруг которых будто выросли пушистые мягкие светящиеся усы. И знал, что излучают свечение сами глаза. И когда, бродя ими по гранитным стенам, сосредоточивал взгляд на какой-нибудь точке, поле зрения заметно светлело, прояснялось, будто водил по стене слабым, тусклым прожектором.

И вскоре оформилось новое чувство, вначале крайне тяжёлое.

Постепенно стирались границы между чувством осязания, зрением, слухом.

Видел, с каждым днём видел яснее отверстие стока, очертания тела.

Но приближаясь к тому же стоку с закрытыми глазами, непередаваемо остро и живо ощущал эту близость,

чувствовал очертания, форму и оттенки сгущённой на дне темноты.

И когда раздавались за стеною шаги, было ощущение — стоит напрячь посильнее что-то, начинавшее усиленно пульсировать в затылке, и увидит лицо того, кто идёт.

И тогда вспомнил, что может ускорить сам проникновение в таинственный мир.

В первый раз случилось непроизвольно...

Ослабел на коротком пути от стока к подушке, не успел принять «падма-азана», только грудью успел привалиться к истёртому шёлку, и накрыла мутная пелена глубокого сна.

И что-то случилось во сне.

Чувствовал, будто сильно толкнуло, свело обессиленное тело, и тотчас ощутил себя самого вне этого тела, бессильно простёртого с подогнутой шеей, с чуть сведённой в колене левой ногой.

И правая рука также была сведена и зажата в кулак. И это он видел

извне, отчётливо видел... Нет, не видел, а «осязал — слышал — видел» окончательно слившимся, уединённым от тела восприятием.

И, опять очутившись в полной темноте, ощутил, как захватывает дух страшно быстрое, вихрем, движение, и тем же бесформенным зрением почувствовал перед собою калитку цветника, окно веранды, знакомые лица.

Оформилось желание подойти ближе к веранде.

И когда, инстинктивно желая распахнуть закрытую калитку, сделал усилие, усилие это не встретило препятствия, и было на минуту ощущение, будто по инерции перевернулся через голову в воздухе.

И в то же мгновение почувствовал себя у окна.

И осталось в памяти знакомое лицо, лицо пожилого человека с седой, по-американски подстриженной бородкой, в золотом пенсне.

Лицо, искажённое ужасом или изумлением. И также в памяти осталось впечатление звука разбитого стекла или фарфора...

И тотчас снова окружила темнота,хватило вихревое движение.

Но прежде чем очнуться в своей каменной келье, ещё раз увидел извне скорченное собственное тело. С непередаваемым ощущением необходимости войти в это тело потерял сознание. Пришёл в себя на полу, весь облитый клейким холодным потом, дрожащий мелкой дрожью, с горячечным прерывистым пульсом, с ощущением странной пустоты под сердцем.

Почувствовал, что именно в этом месте, «под ложечкой», сильно давит твёрдая кожаная подушка. С трудом приподнялся, принял «падма-азана», долго не мог отдышаться. Силился и не мог удержать отчётливо в памяти пережитые ощущения. Словно кто-то невидимый прикрывал постепенно непроницаемым пологом одну за другой подробности странного кошмара.

Начал повторять произвольно.

Скашивал глаза под углом на невидимой точке над переносьем.

Сначала укалывал эту точку своим гранитным пером-осколком. Потом привык и через несколько минут терял представление об окружающем.

Сначала окунался в темноту, полную невидимых, но ощущаемых образов, как во время первого кошмара.

Потом постепенно определялись образы, странные уродливые. Сознание отказывалось понимать их, усваивать. Странные, просветлявшиеся изнутри, очертания, в которых контуры переходили незаметно одни в другие, так что нельзя было уловить, где очертание кончается и чем началось.

И однажды уколола сознание странная догадка: не такими ли представлялись бы в жизни предметы, если бы можно было видеть их сразу со всех сторон, и насквозь и снаружи?

И за этой догадкой память привела забытое, потускневшее воспоминание о диких, бесформенных на первый взгляд, картинах — комбинациях геометрических фигур, что ему, Дорну, пришлось как-то видеть на выставке в большом далёком городе...

Постепенно темнота просветлялась.

В конце концов испытывал то

незрительное ощущение яркого света, которое бывает во сне, в глубокую ночь, когда действия сна, картины представляют день.

В этой стадии начал ощущать присутствие вблизи других существ. Быть может, не существ, а таких же, как его, уединённых от тел сознаний.

Пока ещё не видел, только догадывался... Потом тонкие тени стали проноситься перед сознанием. Так же без контуров, не призраки, не то, что в жизни зовут привидением. Просто бывало ощущение, будто позади на источник света набежала туча, как набегаёт на солнце облако в жаркий летний день, и по золотому, волнующемуся, дышащему морю колосьев пробегаёт неуловимое, трепещущее, живое...

И когда в первый раз ощутил близость её, близость той, чей образ отказывалась вернуть ему память, упорно вызывавшая страшную картину удушенной, вспыхнуло такое острое, мучительное желание увидеть её всю, убедиться, что это действительно она, так напряглось уединённое от тела сознание, что сразу потухло. И снова, обессиленный, дрожащий, страдающий мучительной одышкой, увидел себя в каменном мешке с тускло мерцающей серой слизью на гранитных стенах.

Упорно стал повторять опыты.

И новая форма страдания родилась в измученном теле.

Надолго не мог удержать в памяти призрачных переживаний кошмара. И не мог отдать себе ясно отчёта, уплотняется с каждым разом искомый образ, или сам он лишь убеждает, гипнотизирует себя.

Иногда казалось, что минуту назад уединённое от тела сознание было особенно близко к ней, видело её всю отчётливо, слышало даже беззвучный, но знакомый голос, тот мысленный голос, каким говорят действующие лица в каждом красочном сне.

Но лишь только напрягалась память, чтобы оформить окончательно ту или иную подробность, удержать в сознании, выделить и запечатлеть, чтобы потом самостоятельно воспроизвести целый образ, чья-то рука гасила одну за другой только что ярко горевшие черты, страшная боль грызла затылок, рождалась под гребнем черепа и мысль, страшная, мучительная догадка придавливала сознание. Кошмар?..

Простой кошмар, богатый разнообразными формами, созданный больными нервами, неестественным положением тела, постоянными приливами крови к изнурённым плохим питанием сосудам мозга, кошмар, им же самим созданный. И нет контроля, нет никого, кто убедил бы в противном, кто подтвердил бы реальность призрачного мира, подлинность призрачных образов, подлинность её образа.

И не будет...

И в такие минуты, и всё чаще теперь прежнее безумие отчаяния овладевало телом, швыряло о камень, исторгало из горла сипящие, тотчас съедаемые гранитом вопли.

Присоединилось новое.

Вместо прежнего тупого, скорее враждебного, безразличия к жизни вспыхнул чисто животный страх за жизнь.

Вернее, не за жизнь, а за тело...

В самом деле, разве «жёлтым колпакам», замуровавшим его в каменный мешок, не могло попросту надоесть возиться с ним, Дорном, всё равно обречённым никогда не увидеть света?

Разве не могли они незаметно впустить в проклятую форточку яд вместе с рисом? Открыть через сток или вытяжную трубу доступ ядовитому газу? Наконец, просто закупорить наглухо отверстие труб, чтобы он задохнулся? В последнее время ему что-то особенно трудно дышать. А потом эти боли... Эти страшные, грызущие боли затылка, что медленно ползают, будто останавливаются и вгрызаются внутрь, под черепом, по мозговой оболочке, всползают по мозгу наверх и пульсируют у лобного шва.

Несколько раз он ловил у себя ощущение асфиксии, отравления окисью углерода, каким-нибудь наркотическим ядом. Усиливалась одышка, ломался, протягивался в нить, давал чудовищные скачки пульс, конечности отказывались соразмерять движения.

Жило даже подозрение, что в каменную келью могли пустить змею.

И долгое время, скорчившись в комок на своей подушке, цепко охватив руками подогнутые колени, выпученными глазами упорно следил за чёрным отверстием стока, не покажутся ли оттуда крошечные мерцающие глазки пресмыкающегося.

Усилием воли удалось парализовать ложные представления. Все ли?

В последнее время выползло новое подозрение: не оседает ли потолок?

В самом деле, в толще гранитного массива высечен целый ряд таких келий. Выдержат ли их своды чудовищную тяжесть горы?

Предположим, они не обвалятся даже. Но он знает из геологии, что подошвы гранитных массивов, встречая основание, фундамент более твёрдый, страшным давлением тяжести переводят породу в странное, ещё не исследованное, состояние, позволяющее граниту «обтекать» более плотное препятствие.

Не оседает ли потолок незаметно именно таким порядком?

Он проверял несколько раз, по-прежнему ли он чуть достаёт указательным пальцем потолок, ставши во весь рост около стока.

И мучительно было убедиться, что проверка не может дать ответа. Утерявшие способность точной координации движений конечности говорили сегодня одно, завтра другое, послезавтра возвращались к вчерашним данным.

Но недавно он убедился.

Он нащупал складку гранита. Да, настоящую складку.

Он направлялся от стока к подушке ползком. С тех пор как почувствовал чудовищную тяжесть, давящую сверху на потолок, он потерял способность передвигаться иначе. Невидимая страшная сила сгибала его тело, словно огромной ладонью распластывала на полу, придерживала той же ладонью во время движения.

Случайно коснулся рукою стены, убедился, что под пальцами шов, углубление. На минуту потерял сознание. Пришёл в себя, вспомнил не сразу, а когда вспомнил, нашёл ещё силы отложить осмотр.

Напряжением воли привёл мысли в порядок, принял «падма-азана», отдыхал несколько часов, может быть сутки. Двинулся к страшному шву просветлевший, оправившийся; с уснувшей болью, почти нормальный. Только колени да руки по-прежнему бессильно дрожали, и каждое прикосновение пальцев приходилось доводить до сознания отдельно.

И пришлось окончательно отказаться от понимания.

Углубление он нащупал.

Но углубление странное, необъяснимое.

Оно шло сначала параллельно полу, затем... Затем оно поднималось под прямым углом кверху, под новым углом возвращалось назад, параллельно нижнему шву, и, дав новый угол, замыкалось в правильный квадрат. В большой квадрат — он измерил дрожащими пальцами: шесть четвертей стороны квадрата.

Долго сидел около.

Тупо ворочались мысли, тяжело тянулись из мрака сопоставления, сочетания, цифры, давно забытые, непривычно и неуклюже укладывавшиеся в сознании, сжившемся с причудливой призрачной жизнью.

И прошло много времени, пока оформилась простая несложная мысль:

«Гранитный квадрат, площадью в тридцать шесть четвертей, незначительно отодвинулся вглубь, в толщу стены...»

И лишь одну робкую мысль потянуло за этой мыслью сознание:

«Значит, там, за стеной, пустота, значит и эта стена не глухая...»

Больше не отходил от этого места.

Ценою страшных усилий удерживал руку. Если исследовать часто, потускнеет разница. Не смел догадываться, не смел проникать в смысл явления, да и не вместило бы смысла сжившееся с гранитным гробом сознание.

Но не мог удержать страшной дрожи. Громко щёлкали зубы, и прижатые локти стучали по рёбрам.

Но эта дрожь не расслабляла тела, не туманила рассудка, не вызывала изнуряющей липкой холодной испарины. Дрожь напряжённого ожидания.

И давно утерянное мягкое спокойствие, мягкая, баюкающая, а не привычная, давящая, апатия пришла на смену этой дрожи тогда, когда, выждав подольше, обернулся опять, протянул руку, и чуткие пальцы не нашли на прежнем месте твёрдой грани гранита, и пришлось наклониться, до половины предплечья продвинуть руку пока нащупал камень.

Определённой надежды не вспыхнуло в сердце. Он знал, что не было случаев освобождения отказавшихся от света навсегда. Не было случаев, кроме одного в полстолетия, по велению тех, кого никто не видал, но кто существует и живёт на земле. Даже его ослабевший разум отдавал отчёт, что не мог он провести в каменном гробу этого срока. Успокаивало не то, не надежда.

Просто налицо был факт новый, реальный, поддающийся исследованию, факт, открывавший место здоровому ожиданию. Камень отодвигается. Куда? Зачем?

И даже тогда, когда медленно уходящий в толщу гранита квадрат открыл доступ воздуху более свежему, когда от вскрывшегося нового отверстия Дорна оттолкнул поток света, жалкого света глубоких осенних сумерек на самой границе ночи, света, еле заметного здоровому глазу, но Дорна ослепившего до боли во лбу и в затылке и тогда не оформилась надежда.

Бесконечно, казалось, долго пришлось сидеть, пока закрытые глаза успокоились, пока кожу лица перестал щипать свет. Отполз на подушку, издали, щуря слезящиеся глаза, наблюдал светлый столб, привыкал к ощущению света.

Ждал, кто покажется, кого вышлет ему открывшийся проход.

И подавленный рассудок не пустил надежды в сознание даже тогда, когда, ползком пробравшись в отверстие, очутился не в каменном мешке, а в комнате, низкой, сводчатой, еле заметно освещённой с потолка, с окованной дверью, но всё-таки в комнате.

И не надежда, тупое удивление остановило перед длинным и мягким кожаным тьюфяком деревянной кровати, перед подушкой в головах, перед складками жёлтого мягкого шёлкового халата, брошенного поперёк тьюфяка.

И лишь тогда взорвалась в мозгу ошеломляющая, невозможная, неумещаемая мысль, лишь тогда с диким воплем бросился к стене, грохнулся на пол, потерял сознание, когда осветился в глубине мозга смысл давно забытых, но странно знакомых и близких, начертанных белым на чёрной стене, крючков и чёрточек, когда в сердце ему заглянуло с чёрной стены крупными

русскими буквами написанное единственное слово: «Надейся...»

III

Дождь перестал недавно.

Тучи, клочковатые, рваные, подбитые алой выпушкой заката, ещё проталкивали друг друга за горизонт. Ещё высушал каплей крови на крепостной колокольне, на самом острие креста, последний отблеск зари.

А в почерневшие волны реки уже окунулись разноцветные глазки пароходов и острыми жёлто-белыми ножами кололи воду газовые и электрические фонари мостов и набережных.

И за свинцовой спиной реки, там, где всгорбатился тяжёлый купол Исаакия, уже зажигались, пытались протиснуть лучи сквозь дымное дыхание города тусклые северные звёзды.

Асфальтовые тротуары высыхали медленно. И трамваи окунали ещё на перекрёстках колёса в грязную воду.

Стеклянные глаза освещённых магазинов расстелили по мокрой мостовой золотые коврики. Пёстрая, торопливо снующая высь пешеходов пятнала тротуары.

В деревне в это время ложатся спать.

Здесь только начиналась настоящая жизнь. Кипучая, лихорадочная, блещущая такими непрочными и такими яркими красками жизнь огромного города. Жизнь людей, запертых в течение дня за стенами контор и канцелярий, покончивших с постылой работой, победивших, отдохнувших, спешивших не пропустить редко погожего в августе вечера.

В августе начинает пахнуть осенью пропитанный сыростью воздух. В августе жуткая чёрная занавеска спускается с неба на смену белым, призрачным северным ночам, кутающим и унылые массы домов, и вереницы неуклюжих барок, и длинные бастионы мрачной гранитной могилы, прижавшей каменное пористое брюхо к островку посередине излучины таинственной очаровательной красящей дымкой.

Ещё тепло. Разве можно считать за холод мимолётную свежесть, которой дышат теперь насосавшиеся дождевой воды деревянные торцы?

До трамвая перебежать два-три шага, с пальто через руку. В кинематографе жарко, в кофейнях распахнуты окна.

И по Невскому можно пройтись без пальто, разве так уж, для шику, повесить на узкие плечи английский клош, прихватить на пуговицу чудовищно крылатые модные отвороты.

В такие вечера особенно дики, назойливы сиплые, придушенные фразы в переулке, за углом, подальше от фонаря, подальше от монумента с жезлом и шашкой:

— Ваша специальность. Голодающему интеллигенту... Не заставьте погибать без ночлега по причине окоченения.

Какое «окоченение» в дивный, чуть только не душный, вечер? Предъявляющий просьбу дрожит мелкой дрожью, прячет посиневший подбородок в воротнике разноцветного «махрового» пиджака. Посинел, впрочем, и нос.

— Эй, да вы, мой друг, очевидно, с похмелья?

Удивительная наглость у этих отбросов общества... Да и лень, говоря откровенно, лезть за портмоне, останавливаться, прерывать весёлый отчётливый темп модного, вразвалку, либо солидно напряжённого шага.

— Ваше благородие... Господин, послушайте... Ради Бога... Не умею просить. Последняя степень крайности. Издыхаю с голоду. Ради Христа, пяточок на ночлег. Простудился... Ваше благородие...

Стройный высокий господин, в дорогом заграничном ворсистом клоше, замедлил шаги, вытащил тяжёлое портмоне, отозвался участливо:

— Сейчас, сейчас. Подождите. Я отыщу... что могу...

Господин стал под фонарём, блеснул золотистыми кольцами кудрявых волос над румяной щекой, рылся в портмоне, вытащил было полтинник, потом рубль, потом поглядел на исхудалое лицо просителя и решительно потянул за угол синюю пятирублёвую бумажку.

Проситель конфузливо ёжился под фонарём, втягивал в поднятый засаленный воротник ветхого пиджака давно не бритый подбородок, и когда вытащил не без труда из узкого обшарпанного рукава исхудалую руку с грязными ногтями, рука эта, с тонкими бледными пальцами, пальцами интеллигента, лихорадочно дрожала.

— Вот, что могу... Извините. Желая поправиться.

Оборванец с искренним изумлением, с недоверием даже пошуршал кредиткой, перевёл благодарный взгляд на освещённое фонарём румяное лицо тороватого клиента. Крикнул внезапно, очевидно поражённый:

— Боже мой... Вася?

С румяного лица господина в английском пальто кто-то будто одним взмахом, стёр краску.

Растерянно отшатнулся в тень. Забыв, что сейчас отзывался по-русски, забормотал беспорядочно, не зная, в какую сторону направить шаги:

— Mais, pardon... Mais, monsieur... Mais vous vous trompez grandement, monsieur...[7]

Оборванец повторил с радостным недоумением:

— Вася... Вася Беляев... Господи!

Тотчас спохватился, пришёл в себя, сконфуженно отступил, ронял тихо, упавшим голосом:

— Беляев... Господин Беляев... Простите, ради Бога, простите. Конечно... я в таком виде...

Господин в английском пальто справился с первым моментом волнения, схватил оборванца за локоть, потащил к фонарю, крикнул:

— Э, чёрт вас возьми в самом деле... Кто вы такой?

Оборванец слабо отбивался, со слёзами захныкал:

— Господин Беляев, простите... Ради Бога. Не буду... Простите, я уйду, я сейчас уйду. Зачем же в полицию? Ваше благородие... старого товарища... За что же?

Румяный господин пытливо разглядывал под фонарём испитое лицо.

— Кто вы такой, я вас спрашиваю? Вы меня знаете? Чёрт... Действительно, как будто знакомое... Фёдор? Фёдор Сергеич?.. Серебряков, неужели же ты? — крикнул наконец, поражённый не меньше оборванца.

Тот отозвался окрепшим ободрённым голосом:

— Ну конечно же я... Зачем же в полицию? Со всяким может случиться... Я же не приставал, сами дали... Пустите, пожалуйста.

Господин сердито встряхнул оборванца.

— Какая полиция?.. Вот дурак. Но в каком ты вид... Что случилось?

Оборванец отозвался с горечью:

— Ну да. Так вот все. Отчего, почему... Если нельзя человеку помочь, зачем тогда мучить? Спасибо за деньги, большое спасибо. Такая сумма... Пустите, пожалуйста. Тяжело мне...

Господин в английском пальто товарищеским жестом продел затянутую в перчатку руку под локоть оборванца.

— Ты с ума сошёл. Куда я тебя пушу в таком виде?.. Чёрт... Где бы нам с тобой уединиться? А?

— То есть как это уединиться? Зачем? Вы, ты... да ты что хочешь сделать?

— Как что? Не могу же я отпустить тебя в этом виде. Вот свинья... Э, да постой, я сам помню. Тут, от Надеждинской направо, ресторанчик? Не с тобой ли мы были ещё?.. Извозчик!

В крошечном полутемном кабинетике «кухмистерской на правах трактира», пока Серебряков с наслаждением фыркал у раковины, исхудалый, высокий, в грязном обветшавшем белье — платье вместе с развалинами сапог посыльный повёз в магазины готовых вещей в качестве мерки, — Беляев молча шагнул от дивана к столу, не на шутку взволнованный как видом бывшего приятеля, так и собственными своими воспоминаниями, вспыхнувшими под впечатлением неожиданной встречи.

Давно ли он сам, нынешний инженер-электрик, управляющий солиднейшим делом, с ужасом, с дрожью, с надеждой глядел на того, кто, жалкий и грязный, фыркает сейчас под струёю воды, счастливый тем, что может освободить шею и руки от нараставшей месяцами грязи.

Тогда сегодняшний босьяк был бойким, подающим надежды, американской складки репортёром, зарабатывавшим целковых двести, могущим устроить не особенно рискованную статейку приятеля, даже устроить десятка два-три целковых авансом, под собственную ответственность.

И разве не благодаря ему, этому жалкому, трусливо щурящемуся на свет оборванцу, он, Беляев, получил возможность достигнуть всего, получить диплом, правда под чужим именем, но стоит ли говорить про эту скорее комичную, чем серьёзную шероховатость.

Не устрой Серебряков ему, Беляеву, четыре года назад аванса в сорок целковых, не удалось бы уехать из России. Пришлось бы очутиться в «Крестах», в предварилке по глупому случайному делу. Фигурировать, пожалуй, на суде либо в административном порядке прогуляться куда-нибудь в ближайшее соседство с Полярным кругом по тому же маршруту, что проделали в своё время десятки и сотни студентов-товарищей.

Не случись в то время вихрастого, носатого, «под американца» ведущего себя репортёра, разве столкнула бы его судьба с той, мужем которой...

Беляев внезапно будто поперхнулся в мыслях, остановился, ощутил на щеках теплоту, даже спрятал под веками глаза, словно оборванец приятель мог прочитать по ним, о чём он подумал.

Серебряков уже умылся, переделал бельё, завязал у потемневшего, засиженного мухами трюмо мягкий новенький галстук, старательно утягивал пояс, брюки оказались маленько широковаты.

Вымытый, неузнаваемый, с отросшей расчёсанной бородкой, с приведёнными в порядок «литераторскими» вихрами, в тёмной, прилично сидевшей модной пиджачной паре в новых блестящих тупоносых ботинках, он сразу преобразился в бывшего «короля сенсаций», в лихого хроникёра. Только исхудавшая жилистая шея в слишком свободном воротнике чесучовой мягкой сорочки да не успевший совсем потухнуть беспокойный, трусливый огонёк выпуклых глаз, глаз сильно изголодавшегося человека говорили о том, что он пережил.

Дождался, пока, несколько шокированный, крайне закапанный, насквозь просаленный официант с видом оскорблённой брезгливости двумя, очевидно невымытыми, но вооружёнными перстнями пальцами поднял невзрачный узелок с грязным бельём и старым платьем и вынес из комнаты, демонстративно скрутив губу и угреватый нос на сторону.

Тогда шагнул к Беляеву, порывисто обнял его, тяжело всхлипнул, уронив вихрастую голову на плечо товарища. И тот с облегчением, машинально, но отчётливо отметил, что от Серебрякова не пахнет спиртом.

— Поди ты к чёрту!

Беляев сконфуженно толкнул в кресло растроганного приятеля, уселся визави на диван, стукнул в расхлябанный колокольчик. Приказал официанту, с шокированным видом аристократа явившемуся служить подозрительной паре и теперь с небрежным, рассеянным видом глядевшему в сторону, через голову преображённого Серебрякова:

— Подашь нам пару хороших отбивных котлет. Чтобы на масле, понял. Потом вина... Не из вашего «погреба», слышишь, а послать рядом, в ренсковый. Возьмёшь «Рюдесгеймер», бутылку. Я напишу, вот деньги. Потом... — Беляев побагровел, не повышая голоса и не меняя модуляций, лишь высушив голос до металлических железных нот, продолжал: — Потом распорядишься, чтобы к нам хозяин направил приличного официанта и убрал твою наглую хамскую рожу, пока я сам не вышел к нему этого требовать. Слышишь?

Официант, по-видимому, слышал отлично. Слышал не только слова, но и новые ноты, сразу убедившие рассеянного «аристократа», что клиент «из господ».

Поспешно раскрутил презрительную складку, вернул угреватый орган обоняния на обычное место, почтительно оттопырив поясницу, сладко и робко пропел:

— Всепокорнейше прошу, извините-с. С утра нездоровится-с. Кофию-чаю не пимши... Дозвольте-с мне услужать.

Серебряков одобрительно крякнул, заметил прежним чуть саркастическим тоном:

— Однако ты, Вася, того... Барином стал.

Беляев уже жалел о глупой вспышке. Прятал глаза от поспешно накрывавшего стол обладателя перстней, отозвался, когда тот будто на крыльях вынесся в дверь за прибором:

— Сам знаю, что глупо. Проклятая привычка — удивительно действует эта тупая хамская наглость. Ведь сам же небось месяц-два назад по ночлежкам шатался, животное, а здесь увидал на тебе старый костюм — марку держит... Да, конечно, чёрт с ним... Ну, теперь ты

расскажешь, что случилось?

— Да ничего особенного... — Серебряков задержал над котлетой нож, несмотря на то что настоящий волчий голодный огонь загорелся в глазах. — Ничего особенного... Ведь это, голубчик, со стороны так представляется, будто трудно интеллигенту очутиться на дне, будто необходим роман, трагедия. Много проще на самом деле... В двух словах... Издание наше, ты знаешь, прогорело. В один год прохвосты пропустили полтораста тысяч в трубу. Ну-с, все мы очутились на улице. Другие имели связи в столичных газетах, а я, сам знаешь, из глубокой провинции. «Голос отчизны» мой первый столичный дебют. Думал сделать карьеру. Так вот... Толкнулся туда, сюда, в вечерние, в утренние — везде битком. Да откуда вы, спрашивают. Из «Голоса отчизны». Помощник, дескать, заведующего хроникой. Гм... из «Голоса отчизны»? Смеются. Умолк, говорят, ваш «голос». А впрочем, принесите, пожалуй, что-нибудь строк этак на тридцать. Если подойдёт, пустим... в очередь, разумеется. А ты имеешь понятие, что такое «очередь» в петербургских газетах? Ну, так вот. Дальше да больше. Спустился до угла. Перебивался грошовой перепиской, чертежами — по специальности я техник — ты знаешь... Ну а там простудился. Пальто, брат, заложено, хозяин из угла гонит, самому нечего жрать. Он рабочий, а тогда забастовка как раз была. Пошёл я на Николаевский вокзал дрова разгружать, выкидывать надо, шесть гривен за вагон. Восемь гривен заработал, вспотел, вымок, как губка, по дороге ветром прохватило. В результате Обуховская... А уж оттуда, брат, если поддержки не имеешь, одна дорога — в ночлежку, а там на тротуар, как сегодня.

Серебряков залил бледное, исхудавшее лицо румянцем стыда; чтобы скрыть мучительное смущение, особенно прилежно принялся за котлету.

— Ты меня, Вася, извини. Я таких вкусных вещей больше полутора года и запаха не слыхал.

— Да будет тебе.

Беляев молча задумчиво следил за товарищем. Наконец решился, спросил преувеличенно резко:

— Вот что, Фёдор Сергеич, ты на меня не обижайся... Я, брат, прямо... Скажи ты мне откровенно... а ты не пьёшь?

— То есть как это «не пью»? — Серебряков поднял с тарелки изумлённые глаза. — Как это «не пью»? Кто же из нас, репортёров, не пьёт. Разве без этого от нужного человека чего-нибудь добьёшься? Ты, очевидно, хотел спросить, не пью ли запоем, не алкоголик ли я?

— Ну да, ну да. Чего уж...

— Нет, брат, — Серебряков вздохнул, как будто даже с сожалением. — Нет, за это могу поручиться. Пока... Пока ещё не запиваю. Алкоголику, голубчик, в такой роли значительно легче, тот едва сознаёт. Нет, я не алкоголик.

Неудавшийся хроникёр говорил искренно, просто. И прямо глядел голодными, ввалившимися, но не мутными, «налитыми» глазами. Беляев вздохнул с облегчением. Серебряков продолжал, припоминая:

— Конечно, с другой стороны, не буду скрывать, рюмки мимо рта не пронесу. Ежели на душе легко, да компания подходящая, да... Это уж ты как хочешь суди, врать не буду.

— Ну, это другое дело. Кто ж об этом говорит? Послушай-ка, Федя. А что, если бы плюнуть на Петербург?

— Голубчик. Да рад бы радостью. Да как плюнешь? Легко сказать.

— Э... не так трудно и сделать при желании. Вот что. Ты ведь помнишь, при каких обстоятельствах я отсюда уехал? Ну, вот... А теперь скажу в двух словах... Да, вот моя карточка.

Беляев достал дорогой тиснёный бумажник с золотой монограммой, протянул репортёру прозрачный кусочек пергамента.

— Гастон Дютруа. Инженер-электрик... Ого-го... Заведующий эксплуатацией Хивиальмских водопадов. Парви-оки, телефон... Чувствую. Даже понимаю. Даже бывал, года этак четыре назад. Помнишь, сенсационное убийство старухи на Кронверкском проспекте? Один из убийц как раз туда скрылся, в деревню. Ведь это Вологодская?

— Олонецкая... Так вот. У меня, на постройках, отлично можешь устроиться. Скажем, старшим десятником либо конторщиком. Девяносто целковых, квартира. У меня и сейчас два студента работают. Природа, брат, воздух. Отдохнёшь, успокоишься. А?..

Серебряков молчал, но глаза, должно быть, глядели выразительно. Беляев подхватил с облегчением:

— Вот и отлично. А с весны подсчитаем работы, процентов и на твою долю, целковых триста, пожалуй, придётся. Прибавка, праздничные. Там, глядишь, случай подвернётся, сразу удастся двинуть тебя, как следует. Мои бельгийцы народ денежный, прочный. Ну, стало быть, нечего и говорить... Ах да, маленькое обязательство. Приедешь на место, явишься в контору, должен марку держать. Меня знать не знаешь, ведать не ведаешь и со всем почтением... Хозяин, начальство, ничего не поделаешь. Иначе нельзя... Со временем, конечно, ближе сойдёмся. Придерусь к случаю, с женой познакомлю.

— Ах, ты и женат?

— Женат... — Беляев кинул это слово быстро, нехотя, тотчас продолжал: — Придерусь к случаю, приглашу бывать. Студенты оба у меня обедают. Познакомишься. Славные ребята. Один электротехник с четвёртого курса — я уехал, он и не поступал ещё, а другой технолог. Ну это со временем, а сначала смотри не проврись.

Беляев повёл за покоробленный, пузырчатый письменный столик, обмакнул перо в чернильницу.

— Э, ч-чёрт! Чего только тут не наворочено. Ну, да ладно. Как-нибудь. Ну-с, так вот. Вот тебе подробнейший адрес места служения, раз. Потом бланк условия. Как твоё звание-то? Федька-Федька, «король сенсаций», ну а по уставу-то? Потомственный почётный гражданин! Вона! Вон, брат, какая ты персона, в три этажа. Подпишись. Нет, нет, здесь вот, пониже, через марку. Ну и готово. Выезжай денька через три. Я сам завтра к вечеру дома буду. Да, ещё подробность. Обязательно сошлись в случае расспросов на протекцию... На кого бы нам громыхнуть?

— На Потапова нельзя?

— На издателя твоего? Богатое дело. Как мне-то не пришло в голову? Он ведь во всех комиссиях, концессиях, предприятиях — везде. Ну-с. Так ты не забудь. От станции восемнадцать вёрст только летом, а теперь дожди, придётся в объезд. За три дня успеешь обзавестись. Сапоги длинные обязательно, куртку, ну там бельё... Двухсот целковых довольноно?

— Что ты, что ты? С ума сошёл?

— А поди ты к чёрту! Забыл, как меня выручал. Тоже не свои даю, хозяйские. Авансом. Из

жалованья по пятёрке в месяц буду вычитать, пеняй не пеняй... Ну айда! Мне ещё по делам надо поспеть.

Беляев торопливо собрал бумаги, позвонил лакею. Насыщенный презрением обладатель аристократических перстней переломил поясницу под острым углом, обнаружив на тарелке маленький золотой. Всем животом навалился на Беляева, помогая натягивать пальто, с видом тамбур-мажора мелким балетным шагом бежал впереди, распахивая двери до наружной включительно.

Вышли на крыльцо. Окунулись в густую кашу пёстрых звуков. Трамваи звенели и скрежетали тормозами, жалобно плакали и хрипло кашляли автомобили, где-то везли железные полосы на тяжёлых подводах, и пропитывал воздух назойливый чокающий стук копыт о звонкую мостовую переулка.

— До угла вместе. Ты на трамвай?

Шли рядом, оба элегантно одетые, сразу было видно, привыкшие к сутолоке огромного города. Серебряков, час назад жалкий, дрожащий, скрюченный, сразу переродился в приличном костюме, двигался свободно, уверенно, разом распрямившийся телом, жестом настоящего «бульварде» перекинул через руку новое пальто, чуть покосил набекрень мягкую плюшевую шляпу.

Беляев крикнул на углу порядком облезлый «таксо».

— Ну, я тебя покидаю. Скорей выбирайся отсюда... Мне ещё в тысячу мест надобно. Сейчас в «Европейскую»... там один э-э-э... старикашка. Да. До свидания, голубчик.

— Вася. Я тебя и не поблагодарил, как следует.

— А ну тебя! Шофёр. «Европейская» гостиница. На Михайловскую.

Откинулся в глубину кареты, с довольной улыбкой следил, как товарищ, широко шагая через подсохшие лужи, направлялся к трамваю.

Но улыбка скоро сбежала.

Напряжённая складка, складка смущённого ожидания, затаённого беспокойства, быть может стыда, очертила губы.

Нетерпеливо выглядывал, считая переулки. Бросил шофёру сдачу, не считая. Почти вбежал в подъезд фешенебельной гостиницы. Перед тем как захлопнуть клетку лифта, спросил министрообразного швейцара по-французски:

— Леди Джексон у себя?

IV

Ещё недавно здесь, между озером и петлями извилистой бурливой реки, была плотная тёмно-зелёная щётка густого хвойного леса.

Лес был отборный, нетронутый, с голыми гладкими могучими стволами, с суковатыми руками высоко вверху, так высоко, что шапка валилась с затылка, если следить за чьими-то глубокими синими глазами, прикрытыми белой повязкой облаков, пристально

вглядывавшимися вниз, в просветы кроны.

В бури звонким выпуклым звоном переговаривались верхушки, а у корней было тихо, как в церкви, только сыпалась хвоя тихонько сверху и устилала землю плотным и скользким ковром да сучок изредка, посуше, обломившись вверху, падал, крутясь, стучая о стволы, цеплялся за кору и долго кивал чёрным корявым пальцем, раскачиваясь.

Вечером, после заката, кто-то, призрачный, тёмный, бегал от дерева к дереву, прятался за стволы, расстилал у корней синие тени, и лес тогда был похож на огромный таинственный храм с бесконечными рядами стройных мраморных розово-жёлтых колонн.

Весной, когда набухали и синели снега, здесь можно было слышать гортанное, туго натянутое бормотанье глухаря. По зимам, в морозы, рябчики камнем падали с верхних ветвей, пробивали обледеневший наст, зарывались в пушистый снег на ночлег, под ледяной крышей.

Здесь неслышно и важно проходили вереницей с болота в далёкий ольшаник непуганые лоси.

Здесь можно было слышать редкую вещь, о которой спорят горожане с лесниками-охотниками, слышать, как медведица пугает лошадей и скотину, свистит страшным свистом, засунувши в рот мохнатые пальцы, по-человечьи.

Только человека здесь видели редко.

Больше зимой, когда скованы зыбкие топи, когда путника кто-то, благословляя, окропляет сверху острым звенящим инеем, тогда только здесь, напрямиком, на соседний погост проторяли узкую тропу лёгкие карельские санки. Охотники за белками и горностаем разрисовывали лыжами снег длинными лентами-узорами. Да изредка, с колокольчиком, выплывал из-за волнистых сугробов и засыпей становой пристав либо закутанный батюшка — на требу...

А летом иногда испуганно аукались заблудившиеся бабы. Да старикашка карел, сморщенный, жёлтый, с пухом под челюстью, пробирался лесом к реке, на ловлю форелей, спотыкался, скользил в хвое и, прикрыв заросшее ухо дряхлой рукой, долго слушал, где шумит водопад.

Потом сразу появились люди. Много людей...

Сначала через лес зачастили тройки, «впротяхку» — местных станционных ямщиков, и с пристяжными — в городской сбруе.

Кучера последних беспомощно ёрзали на мягких козлах, скверно ругались, призывали на помощь «святителей», кончали тем, что с трудом отцепляли обжигавшие на морозе руки крючья вальков и бечёвкой прилаживали постромки к оглоблям.

Староста-карел не снимал с груди бляхи, отчищенной мелом, лавочник — самовара с прилавка, а попадьё из епархиалок, изнывавшая на засыпанном снегом и хвоей погосте, шёлкового зелёного платья, модного, дорогого, по последнему зимнему журналу — приложение к «Ниве» за 1898 год.

Необычайные гости на погосте были необычны и по виду.

В тонких, чуть подбитых разрисованным мехом пальто с воротниками шалью — душа нараспашку, в пушистых шарфах, котелках и цилиндрах, они боязливо ступали по ломкому насту лакированными ботинками в замшевых гетрах, прятали озябшие руки в карманы, особо прорезанные на груди, платили за кипяток и молоко баснословные цены и переговаривались на незнакомом языке, который матушка, разобравшая слово «тужур», тотчас безошибочно определила за французский.

Все эти люди особенно интересовались бурливой речонкой, не годной ни для сплава, ни для правильной ловли, так как водопад бил и щепил брёвна, а коряги и камни пороли сети.

Спрашивали, до какого места пересыхает речонка летом, замерзает ли зимою водопад.

Потом снова надолго затихло вокруг погоста. Староста снял свою бляху, и матушка с грустью уложила в сундук шёлковое платье.

Потом вспыхнула на погосте сказочная новость.

Старикашка карел, тот самый, что жил ловлей форелей и лохов в водопаде, получил массу денег. С ужасом, шёпотом называли цифру — пятнадцать тысяч. Получил и уехал в город и запил и сошёл с ума.

И умер в городской больнице.

А за деньгами приехал из Выборга сын с женой-финкой, беззубой, курносой и жёлтой. Получил в суде деньги и снова исчез, и никто не знал, где он, как не знал до того сам покойник отец.

Тогда вспомнили все на погосте, что за старикашкой карелом ещё при царе-горохе был закреплён водопад и десяти́н пять мхов, заваленных зелёным от плесени гранитом.

Выпал снег, и застучали топоры в лесу. Сначала далеко — только в оттепель долетали до погоста дробные звуки. Потом ближе заревел гудок локомотива. Через погост потянулись со станции подводы с частями диковинных машин, с механиками в тёплых заграничных куртках с выпушкой перистого меха под горлом. Старый плотник Илья повстречал у околицы знакомого возчика, чему-то удивлялся, недоверчиво переспрашивал:

— О?.. Рупь семь гивен?..

И наутро, чем свет, с сумкой и топором за плечами скрылся в лесу.

И когда сошли снега и всосали влагу зыби торфяников, когда рыболовы с погоста с сачками отправились за нерестящейся под берегом рыбой, они не узнали знакомых мест. И с горы, сквозь широкую просеку, увидели наголо оплешивевший холм — прежде под строевым лесом, длинный ряд телеграфных столбов, звенящих новой проволокой, и за извилинами реки, у водопада, разноцветные бородавки кирпичных зданий и новых золотистых срубов.

Долго отказывались обитатели погоста понимать, чем заняты десятки рабочих и мастеров возле того водопада, что впроголодь кормил одного старикашку карела.

Смеялись над унтером, вернувшимся со службы в запас на родной погост.

Унтер говорил, будто с водопада передают электричество в город — это за сорок вёрст?..

Помирились на том, что построен «рыбий завод».

И скоро открыли новый источник заработка. Доставляли на водопад молоко, яйца, грибы. Разузнали, что водопадом заведует «барин», и потянулись бабы с брусникой, морошкой, охотники с рябчиками, тетеревами, лосятиной.

Заводские платили хорошо.

А счастливилось попасть к «самому» и выходила на кухню барыня, молодая, красивая, «из себя очень белая», с большими серыми печальными глазами, — с продавцом даже не торговались и — шальные деньги у господ — беспрекословно отваливали за пару рябчиков

полтину.

Роль магнита начал играть водопад и для тех, кого принято звать «местной интеллигенцией». Все заброшенные судьбою в захолустье должностные и просветительные органы стянулись к переродившемуся берегу реки. И земский начальник, сосланный в глушь из Центральной России «за вредный образ мыслей» — не поладил с предводителем, и земский врач, потерявший способность различать «грудной порошок» от «трёх звёздочек», и — маркой ниже — приходские и земские учителя и учительницы, прослышавшие, что жена инженера кончила высшие курсы. Даже становой из гвардейских поручиков, попавший в полицию, как полагается, «по неприятности», опустившийся, пропитый, завернул на водопад по казённой надобности, увидел у заведующего эрраровский концертный рояль, остался обедать и после обеда, к своему изумлению трезвый, очутился за клавиатурой, робко коснулся забытых клавиш одеревеневшими отвыкшими руками.

Подсела хозяйка, и в четыре руки до чаю играли Шопена и Шумана.

И когда становой уезжал, отказался от водки, по дороге плакал, уткнувшись в шинель, и скверными словами ругал стражника-кучера.

Даже матушка первая сделала визит в шёлковом платье. И на следующий день привезла то же платье в куске колленкора, со слёзами просила инженершу показать, как бывает модно по-настоящему.

И было немножко странно — делом заведовал инженер, обрусевший француз, молодой, энергичный мужчина, по признанию уездных законодательниц, страшно неотразимый. Но когда в обществе случалось сообщать о поездке на водопад, к гостеприимной французской чете, как-то сами собой выходили ответы:

— Были мы вчера у нашей отшельницы.

Либо:

— Эх, закисли мы здесь, господа, пора живых людей повидать, на водопад бы, к Дине Николаевне.

Выходили, быть может, потому, что инженер, хоть обрусевший, всё-таки француз, а хозяйка своя, русская. А может быть, оттого, что заведующего редко заставляли дома.

Приближалась осень, подгоняли работу.

Торопились с облицовкой узких гранитных шлюзов в рукавах водопада.

Суживали и углубляли русло, и весь день стучали сухие тяжёлые динамитные взрывы.

В двух рукавах собрали уже под кожухами турбины.

На берегу, в кирпичном здании станции, обшивали цинкованным железом крышу и на звонком кафельном полу уже взгорбатились огромные, строгие в своей простоте контуры могучих бобин и трансформаторов.

Душа и глаза кипучего дела — инженер Гастон Дютруа, румяный, здоровый, с вихрами золотых кудрявых волос, падавших на лоб, с шести часов утра появлялся на работах.

Над ребром водопада виснет тонкое облако брызг. Солнце встаёт из-за зубчатой лесистой щётки горизонта, окунает первые лучи в свинцовую гладь соседнего озера, опоясывает облачную занавеску водопада семицветной мерцающей радугой.

И тут же, на вершок от воды, на осклизлом источенном камне, алеет в солнечных лучах светлая кожаная куртка инженера.

Через две-три минуты он уже на другом берегу, где жидко цокают о гранит молотки каменотёсов.

Через четверть часа инженер на постройке дружески балагурит с помощниками, русским инженером и бельгийцем-строителем.

Там, где чётко обтяпывают топорами смолистые брёвна, где на бетонном с гранитом фундаменте сложены уже нежно-кремовые срубы зимних жилых помещений, заведующего встречают весёлые лица студентов-десятников, его нахлебников.

Здоровается дружески, спрашивает, пошутит, похвалит; коли упущено что, глядишь, и изругает. Но изругает приятельски, по-студенчески, без злобы, без колючего терпкого привкуса «я начальник».

К восьми надо в контору.

Тянутся один за другим с докладом о грузчиках, возчиках, копачах, о расчётах.

Приносит пачки накладных, дубликатов, квитанций заведующий конторой, Фёдор Сергеевич Серебряков.

Этот Серебряков... Появился Бог знает откуда всего месяц назад и пошёл сразу в гору. Человек, впрочем, дельный, по образованию техник-специалист. И, кажется, не пьёт. А уж что касается письменной части, запросить что, ответить, отписаться на придирки фабричного надзора либо лесохранительного комитета — не надо адвоката, нотариуса.

Представил рекомендации, в душу, что называется, заведующему влез.

Вот и теперь. Хозяин подтянул двух конторщиков за то, что до гудка удрали с водопада на погост, к лавочнику на свадьбу, не записали дубликатов, поступивших до шести часов, и теперь не учесть за вчерашний день кирпича...

Конторщики сконфуженно потеют, царапают грязными обкусанными ногтями клеенку стола, а заведующему хоть бы что. Повидался с хозяином за руку, шуршит за своим столом накладными. Подождал, пока инженер кончил кричать, говорит спокойно:

— Разрешите вам доложить, Гастон Бенедиктович, они не виноваты. Я им сам разрешил.

— Так не надо было разрешать.

— Извините, Гастон Бенедиктович, дело молодое. А с кирпичом никакой неприятности не вышло. Я вчера за них до гудка досидел. Извольте удостовериться.

И протягивает пачку вчерашних дубликатов хозяину.

Конечно, заступился — хорошо. Но уж очень задаётся. Небось из того же железнодорожного училища, что и мы, грешные, а у хозяина столуется. Здесь за пятьдесят целковых корпи, а он с семидесяти пяти через месяц на полтораста перескочил. Умеет подсыпаться, бритый чёрт.

И постоянно в кабинете запирается с хозяином.

Пойдёт с докладом, обязательно дверь плотно прикроет: замок французский щёлк — и наглухо...

Не иначе, наушничает. Ну да погоди, на старуху бывает проруха. Двери новые, некрашенные,

олифой подправленные. Давеча сучок маленький выпал. И не заметил никто. Что у них за тайные совещания происходят?

А в кабинете происходило следующее.

Заведующий конторой привычной ухваткой опустился в кожаное кресло за письменным столом, постучал папироской по чёрному стальному портсигару, задумчиво принялся пускать синеватые колечки дыма.

Инженер Дютруа быстро, но внимательно просматривал листочки дубликатов, щёлкал костяшками счётов. Внезапно оторвался от дела, вскинул на подчинённого глаза:

— Ну-с, что новенького расскажете, Фёдор Сергеевич?

— Ничего, Гастон Бенедиктович. Всё старенькое... к сожалению.

Инженер снова поднял глаза с дубликатов, на этот раз с некоторым изумлением. Сдержался, закончил подсчёт, возвратил заведующему конторой документы, осведомился чуть обеспокоенным тоном:

— В чём дело? Почему «к сожалению»?

— Да так...

Заведующий конторой бросил окурок в пепельницу, смущённо побегал глазами по кабинету, повернул наконец к хозяину чуть побледневшее, носатое, бритое лицо.

— Да так, собственно... Собственно, конечно, пустяки, н-но... Дело, видите ли, в том, что, по всей вероятности, скоро мне придётся вас покинуть.

Лицо инженера выразило крайнюю степень изумления. Потянулся к заведующему конторой через стол, спросил, сильно понизив голос:

— Ты с ума сошёл? Что ещё за новости?

Заведующий отрицательно потряс головой:

— К сожалению, должен подтвердить. Обстоятельства складываются.

— У тебя с кем-нибудь, что-нибудь произошло?

— Аб-солютно...

— Но тогда... Что за бессмыслица? Ты так отлично себя зарекомендовал... Наконец, случай дал такое содержание... Я тебя отказываюсь понимать.

Заведующий конторой сказал спокойно:

— Ты забыл ещё прибавить, что я связан авансом. Но ты обещал высчитывать в погашение пять целковых в месяц, а вернувшись в Петербург, я погашу тот же аванс не в пять лет, а в три месяца. Я получил приглашение от издателя столичной газеты на те же полтора ста рублей. Спасибо тебе — я поправился здесь, окреп, отдохнул.

Инженер возмущённо откинулся на спинку кресла, всплеснул руками.

— Нет, ты решительно помешался, Фёдор! Да разве же можно сравнить то предложение с твоим положением здесь? Сегодня он заплатит тебе полтора ста, а завтра выставит в шею. Наконец, если ты так нуждаешься, я попробую похлопотать о прибавке... Неужели тебя так

увлекла профессия репортёра?

— Спасибо... Не надо прибавки.

Гастон Дютруа снова наклонился через стол, впился пристальным взглядом в бледное, носатое, взволнованное лицо, спросил встревоженным шёпотом:

— Федя... Тебя тянет?.. У тебя... запой?

Серебряков выдержал испытующий взгляд хозяина, отозвался спокойно с улыбкой:

— Нет. Запоем не страдаю.

— В таком случае что же?

Заведующий конторой не ответил. В свою очередь остановил на встревоженном лице хозяина тяжёлый, внимательный и пристальный взгляд.

И под этим взглядом внезапно лицо инженера залилось до синевы багровым румянцем, покраснели уши, порозовели даже белки смущённо метнувшихся глаз.

Порывисто, с громом отодвинул кресло, взволнованно прошёлся по комнате.

Остановился перед заведующим конторой, молча стоял, руки в карманы. Кинул тихим, перехваченным волнением голосом:

— Ты слишком много берёшь на себя, Фёдор Сергеевич!

Серебряков молча пожал плечами.

— Слишком много берёшь... слишком... Вмешиваться в семейные дела кого бы то ни было...

Серебряков перебил спокойно:

— Ты совершенно напрасно волнуешься. Я и не думал вмешиваться. Всякий волен поступать, как считает нужным и лучшим. Стало быть, волен и я... Я не хочу и не смею вмешиваться, но не хочу также быть обязанным человеку, хотя бы старому другу, если...

Инженер перебил, задыхаясь:

— Если что?..

— Если человек этот, с моей точки зрения, поступает...

Заведующий конторой dokonчил свою фразу совсем тихо, еле губами прошевелил.

Но инженер, очевидно, расслышал. Отшатнулся порывисто, страшно побледнел, крикнул, забывшись, угрожающе:

— Серебряков!..

Тот отозвался совершенно спокойно:

— Беляев?..

Тотчас добавил:

— Виноват... Вот что, Гастон Бенедиктович. Мы увлеклись, оба кричим. В результате можем влететь в глупейшую историю.

Инженер, волнуясь, шагал по кабинету. Остановился, сказал прерывистым шёпотом:

— Ты... ты не имеешь права судить, не разобрав, не ознакомившись с делом. Осуждать легко... Мы ещё будем говорить по этому поводу.

Серебряков отмахнулся:

— Э... Ничего мы не будем. В таких случаях разговоры равно бесполезны для обеих сторон... К вам стучатся, Гастон Бенедиктович.

Маленькая тонкая женская фигурка стала на пороге. Смуглая, большеглазая, с кудрявыми жёсткими волосами, похожая на статуэтку из тёмной терракоты или бронзы. Сказала по-русски со странным мягким акцентом:

— Баиня п'осит кушать.

И потом, когда шли оба просекой полверсты до квартиры управляющего водопадом, и там, на веранде, где в тёплый, почти летний, сентябрьский день был накрыт стол, сидели молча, пока не вышла хозяйка, пока не зазвенели молодые голоса студентов-нахлебников, спешивших к обеду напрямиком, через лес.

Только после жаркого, когда бронзовая статуэтка-горничная принесла вазу с фруктами, плетёную корзинку с золотистыми гроздьями винограда, хозяйка спросила неуверенно, с бледной улыбкой:

— После обеда поедем на озеро?

Румяный путеец тотчас, с полным ртом, отозвался:

— Об-бязательно. Самолично смазал машину и чистил... К вашим услугам в качестве шофёра. Ваш Андрей вчера был на свадьбе.

Технолог поддержал с удовольствием:

— Великолепное дело. Нынче суббота. Шабашим в пять. К семи будем на берегу, как раз невод тянуть. На берегу и сварим. Какой я рецепт знаю, Дина Николаевна... Ногти откусите от зависти.

Хозяйка приветливо обратилась к Серебрякову:

— Фёдор Сергеевич! Я на вас надеюсь. Что он, в самом деле, хвастает? Утрём ему нос.

— Моя специальность — кулеш, — отозвался заведующий конторой. — По части ухи с ними, астраханцами, не сладишь.

Хозяин, рассеянно пощипывавший ветку винограда, сразу оживился, облегчённо сказал со своего места в конце стола:

— Вот и отлично. Стало быть, вы здесь без меня не соскучитесь.

Словно гардина упала на веранде, сразу потемнело лицо хозяйки, жалобно опустились углы только что улыбавшихся губ. И студенты спрятали смущённые взгляды в тарелку. И сухая насмешливая складка очертила бритую губу Серебрякова.

Голос хозяйки напряжённо дрогнул. Спросила, стараясь казаться спокойной:

— Разве ты сегодня опять уезжаешь?

Инженер Дютруа сердито рванул золотистую ягодку, отозвался раздражённо:

— Диночка! Но посуди же сама... Ну как же я могу не поехать? Через неделю комиссия, необходимо повидаться с Панкхорстом, с де Росси, с де Куланжем...

— Чего же ты так волнуешься? Я только спросила. Я вовсе не собираюсь отрывать тебя от дел.

Инженер молчал, но почему-то особенно пристально, вызывая даже, разглядывал бритое лицо заведующего конторой. Хозяйка сказала нерешительно, после долгого молчания:

— Но... разве ты не можешь отложить поездку, ну, хоть до завтра!.. Мне бы так хотелось вместе на озеро. Одна я не поеду... пусть они, молодёжь.

Инженер Дютруа раздражённо смял и швырнул на стол салфетку, с усилием сдержался, ответил, стараясь придать особую мягкость напряжённому голосу:

— Диночка! Милая... Ты приводишь меня прямо в отчаяние. Ведь ты знаешь, как мне самому хотелось бы отдохнуть с тобой воскресеньем. Но что же мне делать? Ведь теперь безумная спешка. Ну, спроси их... Вот погоди, примет комиссия постройку, тогда я носа из дому не покажу. Ну, будь же умницей, не капризничай.

И снова хозяин облил странным вызывающим взглядом Серебрякова, даже не поднявшего глаз от тарелки.

И сразу у всех упало настроение.

Студенты вспомнили — не приняты рамы от столяров. Торопливо поблагодарили, быстро исчезли среди тёмно-розовых колонн соснового бора.

Немногим дольше просидел Серебряков.

С галантностью столичного репортёра приложился к ручке хозяйки, направился по просеке, в контору. За ним поспешил и хозяин. Нагнал, подхватил под руку, и с веранды было видно, как взволнованно, быстро говорил, наклоняясь, как заведующий конторой пожимал плечами, мягко, но настойчиво освобождал свою руку. И ветер доносил бесформенным обрывком рассерженный голос инженера.

Когда у крыльца залепетали бубенчики и кучер Афанасий, запасной улан с наглым красивым лицом, опущенным золотистой бородкой, вспузырив против ветра рукава голубой сатиновой рубахи, осадил на редкость подобранную серую в яблоках тройку, управляющий водопадом вышел в зал совсем уже готовый, в рубчатой коричневой дорожной плюшевой куртке, в высоких сапогах с мягкой верблюжьей чуйкой на плечах.

Смуглая горничная пронесла через зал небольшой чемоданчик, испуганно-соболезнующе метнула чёрными глазами в сторону барыни.

Инженер Дютруа подошёл к жене, виновато пряча глаза, наклонился поцеловать её руку, спросил мягко, шутливо:

— Мы ещё капризничаем?

Дина отняла руки от клавиш рояля, повернулась на круглом табуретике к мужу, внимательно взгляделась в красивое, смущённое, виноватое лицо.

— Ты всё-таки едешь?..

Инженер нервно передёрнул плечами под чуйкой.

— Диночка...

— Ах, я ничего не говорю... Я только спросила. Что ж, поезжай, до свиданья.

Безучастно подставила мужу губы для поцелуя, не сразу выпустила его руку из своей маленькой бледной руки. Инженер Дютруа сказал раздражённо:

— Диночка! Тебе обязательно хочется на прощанье устроить сцену? Ты без этого не можешь?

Женщина пропустила мимо ушей колкость, сказала серьёзно, медленно, не с просьбой, скорее с давно зревшим, глубоко запрятанным в душе сомнением:

— Вася... Ну а если я попрошу тебя остаться... очень попрошу? Для меня, понимаешь, для меня, ты можешь не ехать сегодня?

Инженер сразу залил лицо багровым румянцем, сделал порывистый шаг, одним движением плеч сбросил чуйку на ближайшее кресло, крикнул вдогонку горничной:

— Кани-Помле! Назад вещи!

Обернулся к жене, едко осведомился, порывисто дыша широкою грудью:

— Ну-с... теперь ты довольна?

Дина умоляюще протянула руку в сторону мужа:

— Вася! Я ждала другого ответа, другого...

— Ах, оставь, пожалуйста!

Инженер сердито отшвырнул сапогом подвернувшийся угол ковра, почти забежал по комнате, не замечая повисшей в воздухе дрожащей бледной руки.

— Оставь, пожалуйста, ты требуешь, чтобы я остался, хорошо, я остаюсь, но, ради Бога, избавь от трагических сцен, от этих причитаний, оханий, аханий.

— Вася, приди в себя... Я устраивала тебе сцены?..

— Оставь, ради Бога, оставь, — инженер перешёл на французский язык. — Ты не считаешь сценами твои постоянные вздохи, укоризны, взгляды. Ты создаёшь мне обстановку, среди которой физически невозможно работать. Вызывают телеграммой — сцена. Ехать по делу — сцена. Ведь я же не баба, не могу я разводить ваши идиллии, хлебать уху на лоне природы, когда над головой висит приёмка, комиссия, когда вся моя карьера зависит...

Дина мягко перебила:

— Вася. К чему нам карьера? Нам некуда тратить даже процентов.

Инженер иронически расшаркался и поклонился:

— Покорнейше благодарю. Жить на проценты с приданого жены, плевать в потолок и заниматься со скуки благотворительностью? Слуга покорный... Я сжился с необходимостью живого, настоящего дела, кипучего, понимаешь?.. Да, и я не понимаю твоих ребяческих воздушных замков о школах, больницах, всяких там добродетелях. Будет посёлок вокруг водопада, будет и больница, и школа. Наконец, я тебе вовсе не мешаю. Хочешь — набирай

хоть сейчас ребяташек с погоста, там этого сопатого добра неограниченное количество. Чуди на здоровье, но оставь же за мной свободу...

— Вася...

Инженер окончательно потерял способность сдерживаться, брызгал слюною, сыпал, не слушая, отчаянным шёпотом:

— Нет, в самом деле, будь же, наконец, справедлива. Ты взяла с меня слово, что я никогда не вернусь к авиации. Ладно... А ты помнишь, как меня увлекала эта профессия? Хорошо. Поставлен крест. Если мне придёт в голову отправиться в лес, подстрелить глухаря, ты бледнеешь, в глазах твоих ужас... В конце концов, даже делом я лишён возможности заняться как следует.

Инженер снова прошёлся по комнате. Машинальным как будто движением, мимоходом сорвал с кресла чуйку, накинул на плечи.

— Поезжай, — сказала Дина устало. — Поезжай. Смотри, шестой час. Ты опоздаешь.

Снова голосом виноватого, нашалившего ребёнка капризно и ласково инженер сказал:

— Ну Диночка, ну дуся, ну, ради Бога... Ты же знаешь, мне вся поездка будет отравлена. Ну, будь же умницей.

Дина повторила настойчиво:

— Вася, ты опоздаешь.

— Ф-фу-ты!..

Инженер рассерженно фыркнул, почти вырвал чемодан из рук смуглой горничной, быстро пошёл на веранду. Остановился на пороге, спросил примирительно:

— Диночка? Ты меня не выйдешь проводить?

Дина отозвалась от рояля:

— Я устала... Ты опоздаешь.

Сердито топнул, кинул по-французски:

— Хочешь капризничать, капризничай... Сколько угодно... До свиданья!

Задребезжала стеклянная дверь. Дробно просыпались звуки бубенчиков. Шапка с павлиньими перьями проплыла мимо окна. Ворвался виноватый ласковый голос:

— Диночка! Не надо сердиться! — И, затихая, мягко застучали скачки пристяжных.

Долго глядела сухими немигающими глазами в окно.

Там, над макушками сосен, потухала заря, тени прятались за тускнеющими стволами, подползали к окну, заслоняя свет, заглядывали в комнату.

Уронила голову на руки, на пюпитр, долго сидела без слёз, без мыслей определённых. Так, на минуту, просветлялись в памяти образы. Знакомое милое лицо в ореоле кудрявых золотистых волос, синяя куртка механика, вся в масле и копоти. Скользкие твёрдые спины валов бушующего моря и взволнованный голос помощника капитана: «Русская... русская пассажирка на вельботе, в числе спасённых?.. Только что принята последняя депеша:

„Фан-дер-Ховен“ затонул. Телеграфист поручил передать привет русской пассажирке...» Синее глубокое прозрачное небо, перистые силуэты пальм на горизонте, стрелчатые контуры минаретов и пагод и высоко, высоко, совсем маленький снизу, крылатый абрис аэроплана...

Красивые образы, красивые моменты.

Отчего же теперь так пусто, так холодно на сердце?

Нет даже острого горя, нет отчаяния, что эти образы потухли, потускнели, что вместо них звучит в ушах резкий, постоянно рассерженный, постоянно взвинченный голос... Постоянные подсчёты доходов-экономий с постройки, вечно лампа в кабинете до поздней ночи над грудой накладных и квитанций, щёлканье счетов и мечты о карьере... мечты какие-то арифметические, постоянно выраженные определённой цифрой.

Если бы ещё действительно была необходимость, нужда.

И теперь эти странные, почти ежедневные поездки в Петербург.

Подняла голову.

Тени сгустились. Спрятались по углам, обшаривали стены цепкими длинными трепещущими пальцами, тянулись к потолку, к окну, повисшему на чёрном фоне розовым, светлым ещё, разграфленным ковриком.

Машинально коснулась рукой клавиатуры, и одинокий, дрожащий, испуганно сжавшийся в темноте звук толкнул забытое воспоминание.

Передвинула руки к басам, тихо, чуть слышно вызвала к жизни мягкие, бархатные, мерно шагающие аккорды — аккорды «похоронного марша» Шопена...

Внезапно захлопнула крышку. Порывисто встала.

Почудилось, будто из-за рояля, из темноты, прямо в лицо смотрят чьи-то глаза. Чьи-то печальные, тёмные. Не видала, почувствовала их цвет — синие глаза на бледном лице. Губы под небольшими тёмными усами.

Но разве она думала сейчас об этом человеке? Разве вообще когда-нибудь о нём думает?..

Вышла на веранду, с удовольствием дышала посвежевшим к вечеру воздухом. К горизонту седой паутиной прилип туман, а на западе, там, где излуцина озера почти вплотную подходила к просеке, крошечные огоньки кололи уже туман сверху и снизу и мерцали, один над другим, два золотистых, прозрачных ломтика.

И только когда проползал по излуцине ветер, тухли внизу огоньки и месяц в воде извивался, тускнел и рассыпался золотыми мазками, а другой мерцал наверху неподвижно.

На погосте, за озером, звонили ко всеобщей.

Брызги трезвона тонули, падая в воду, и над озером плыл мягкий старческий голос большого колокола.

И когда ветер с той стороны посыпал будто снегом свинцовое зеркало озера, звуки вырастали...

Колокол гудел у самой веранды одиноко и мощно. И чудилось, будто услышишь сейчас, как, шипя, возится волна в камышах, как камыш звенит.

Ветер доползал до просеки, прятался под верхушками сосен, и звуки гасли, колыхались лениво и сонно, снова сливались с тихим влажным дыханием вечера.

Далеко, на том берегу, вспыхнул огонь. Окунулся, исчез, замигал снова, и было похоже, будто в глубине озера, блеснув чешуёй, проползла змейка.

Тучи, подмазанные краской заката, падали на воду. И навстречу, со дна, поднимались такие же тучи, и нельзя было разглядеть, где зажётся, мигает огонь. Обнажая небо, тучи уходили друг в друга, и не было туч, не было озера. Синие шапки сосен под обрывом, опрокинутый берег и жуткий маленький огненный глаз — всё висело в мутной лиловой мгле и вместе с нею дрожало и колыхалось под глухими ударами колокола.

А огонёк всё мигал.

Притухал временами, передвигался. И особенно жутко почему-то становилось на душе, когда, шевеля тонким лучом, будто подтягивался к веранде, будто делался ближе...

Не могла удержать невольной дрожи, зябко передёрнула плечами, вскрикнула испуганно:

— Кто там?

Тёмная горбатая фигура переходила просеку. Остановилась. Сиплый старческий голос отозвался почтительно:

— Я, барыня... Здравия желаю.

Хозяйка переспросила ещё не окрепшим голосом:

— Это ты, Илья?

— Так точно... Приказать что изволите?

Плотник подошёл вплотную к крыльцу, обнажил лысую голову. Поклонился так низко, что за спиной у него в котомке загромыхали инструменты. Хозяйка сказала:

— Нет, я так... я тебя не узнала. Домой идёшь?

— Так точно. Пошабашили, расчёт получил, к празднику надобно. Ко всеобщей теперича опоздал... грех-то...

— Ну, ступай, иди себе, ты мне не нужен... Ах да, что я тебя хотела спросить? Что это за огонь мигает, Илья? Где это? Это рыбаки?

Старик повернулся к озеру, долго смотрел, даже рукою прикрылся, хотя давно погасла заря, пожевал неодобрительно губами.

— Никак нет, это не рыбаки. Это... в печорах.

— Где? — переспросила хозяйка.

— Так точно. В печорах это. Там рыбаков не бывает. Камень там, скалы, гранит. Глухое место... Это в печорах.

Хозяйка спросила с неудовольствием:

— Там пещеры?

— Так точно, пещоры. К самой воде подходят, а потом в землю, в скалу, на Фильяньскую

сторону. Говорят, на большие тыщи вёрст под землёй эти пещеры самые, очень глухое место, прямо, можно сказать, тёмное.

— А огонь там откуда?

Старый плотник пожевал губами ещё неодобрительнее. Покосился в сторону огонька, покрестился на звуки благовеста. Отозвался нехотя:

— Так это... Нечистота.

— Что такое? — хозяйку, видимо, не на шутку заинтересовал жуткий огонёк. — Что ты говоришь, Илья? Какая нечистота?

— Обнаковенно какая... — Плотник решился, махнул на огонь шапкой, заговорил скороговоркой: — Вы, сударыня, себе этим не беспокойте, оставьте безо внимания. Не к добру это, не к ночи будь сказано — просто можно сказать, к несчастью. Тут, в этих местах, в старое время чудь жила. Очень обнаковенно, не извольте смеяться... Жила, стало быть, чудь, а потом чухны этой стороной завладели, так точно. Вот она, стало быть, и ушла под землю... Чудь эта самая. Живёт себе никому невидимо. Ну а как, стало быть, перед бядой, перед несчастьем каким, сейчас она повылазит. Огонь жжёт, аукает, людей пугает... прямо, можно сказать, невежество. А изымать её человеку никак невозможно. Подойдёшь, а она в землю уходит.

— «Чудь», говоришь?

Дина рассмеялась. Но жутко и странно звякнули в воздухе дрогнувшие звуки смеха. Тонкий шевелящийся луч тянулся к веранде из плотной лиловой мглы, словно по тонкой паутине, подползал по лучу ближе огненный глаз, тянул за собой странные призрачные контуры.

Плотник опять покосился в сторону озера. Серьёзно и сумрачно подтвердил:

— Так точно... Нечисть это. Чудь балуется...

V

Смутное подозрение, вернее, предчувствие оформилось ещё утром, до завтрака. Когда поднявшийся задолго до рассвета муж убежал на постройку, не пивши кофе, не найдя времени заглянуть к ней в спальню, пожелать доброго утра, её толкнула острая мысль — неужели же он в самом деле такой карьерист, неужели может его захватить так всецело трусливое желание угодить директорам предприятия, потешить полдюжины разжиревших банкиров эффектным зрелищем взрыва последней плотины.

Всё утро она, вместе с бронзовой статуэткой, Кани-Помле, хлопотала по хозяйству. Сервировала стол, вынула старинное, бесценное для знатока, серебро, амфоры, кубки, вазы и чаши, когда-то подаренные её отцу спасённым от разорения приятелем, раджей-талукдиром.

Перетасила при помощи откомандированных в её распоряжение с постройки баб-кирпичниц в столовую цветы и пальмы, превращавшие её кабинетик с бревенчатыми стенами в тропический лес, и уродливые, потемневшие изваяния серебряных кронштейнов тарасили глаза из душистой чащи гиацинтов, азалий, ирисов.

На церемонии взрыва она не была.

Вася просил, настаивал, говорил, что она его хочет обидеть, что самый эффектный момент его работы пройдёт в её отсутствие.

Дина настояла на своём.

Вася, с его экспансивностью, с его студенческими замашками, способен поставить её в самое глупое положение. Она не застрахована от того, что её муж, герой сегодняшнего дня, счастливый автор работ, Прометей, зажжённый здесь, на гранитной скале среди векового леса, огонь кипучей промышленной жизни, «прикуёт» её вместо себя какой-нибудь выходкой, которой сам даже не заметит. Ну, что-нибудь вроде от чистоты сердца, от простоты душевной пущенного в сторону какого-нибудь директора, разбогатевшего лавочника, который и имя-то своё с трудом царапает:

«Вот, позвольте

вам представить мою жену».

Разве не случилось этого в Петербурге, когда он знакомил её с представителем компании, Альфонсом де Росси. И разве деликатнейший потомок версальских миньонов не был смущён не меньше её?

А потом там ещё женщина, акционерша, директорша, кто она там... Вася волен по обязанностям службы, по доброй, наконец, воле рассыпаться перед старой каргой, от которой, должно быть, зависит его карьера. Но уж ей, Дине, изображать институтку, приседать перед мешком с деньгами? Слуга покорная.

Здесь она дома. Здесь она хозяйка.

Здесь даже Васе не придёт, пожалуй, в голову её, а не ей представлять своё, с бору да с сосенки набранное, начальство.

Она видела с веранды, как прокатил на своей жёлтой чухонской таратайке батюшка с дьяконом — будут служить молебен. Потом — пристяжные веером — пронёсся исправник с усами a la Wilhelm der Zweite.[8] Галантно ослабилась по её адресу ещё в самом конце просеки, привстал и твёрдо прилепил к козырьку затянутую в белую замшу руку, ладонью наружу. Становой ещё с вечера приехал на постройку вместе с фабричным инспектором — ночевали в конторе.

И когда со стороны станции, за лесом, заплакал знакомый залиvistый голос малинового набора, когда на просеку, впереди остальных троек, вынесли коляску её серые и Афанасий, напряжённо расставивший вздутые ветром рукава, был похож на грубо раскрашенного идола, что видала она в Бенаресе, Дина ушла с веранды, заторопила прислугу. С изумлением ощущала в груди неприятное, терпкое, щемящее чувство, какое бывает перед экзаменом либо в ожидании тяжёлой неотвратимой беды.

За лесом сухо и тяжело грохнуло. Окна задребезжали в комнатах. Характерный для динамитного взрыва толчок в землю ощутился ногами. Слышно было, как на постройке нестройно и жидко заголосили рабочие:

— У-а-а!!

Потом целиком, по лесу бегом пронёсся десятник, споткнулся на крыльце, облизнул свежую ссадину на корявой чёрной руке, задохнулся с почтительным ужасом:

— Барыня, матушка... Идут-с!..

Тогда только вышла на веранду, притянула к губам гостеприимную улыбку. Смотрела, как,

спотыкаясь с непривычки о корни, брели по просеке фигуры в цилиндрах и фраках, в лаковых ботинках и белоснежных пластронах, с элегантными пальто через локоть — такие потешные, беспомощные и неуклюжие на фоне розовых сосен, свинцового зеркала озера и суровых обломков гранита.

Знакомая тонкая фигура мужа. Под руку с ним какая-то дама, странно моложавые, гибкие контуры тела. Но последняя мысль только скользнула, не оставив следа. Настойчиво застучалось в голову: «Как не идёт Васе фрак. Он совсем не умеет носить... Он такой милый в своей синей, истасканной куртке, со своими всклокоченными кудрями...»

Любезно, приветливо, с чуть заметным холодком большого достоинства, встречала гостей, обменивалась французскими, выбитыми в миллионах по трафарету, лакированными фразами и... всю свою выдержку принуждена была призвать на помощь, чтобы не отшатнуться, когда отодвинулся затянутый фельдфебельский торс исправника и женская приветливая улыбка всплыла перед глазами рядом с путаным золотом волос её мужа.

С минуту стояли, не выронив ни слова, друг перед другом эти две женщины — одна в скромном, гладком, без всякой отделки чёрном платье с маленькой брошкой у горла, с тяжёлым узлом небрежно собранных незавитых волос, с печальными серыми глазами на бледном лице, незаметная, скромная, похожая больше на девушку из небогатой семьи, чем на жену блестящего инженера, жену с миллионным приданым.

На другой было открытое модное платье. Тоже простое. Но странного, трудно уловимого цвета, цвета стали с золотом. И оттенки этих металлов шли живыми тенями, и движения гибкого грациозного тела шевелили и двигали тени, вызывали мысль, что, извиваясь, движется чешуйчатая кожа.

И прямо в глаза хозяйке с улыбкой глядели огромные светло-голубые прозрачные глаза, не водянистые, как часто бывает у светлых блондинок, а именно прозрачные, глубокой прозрачностью хрусталя или алмаза, когда чудится, будто внутри, в глубине, неуловимый, прозрачный, вспыхивает, теплится сине-зелёный огонь.

Почему она, Дина, думала, что приезжая акционерша старуха? Разве Вася рассказывал ей про неё? Разве она сама спрашивала мужа, бывает он у своей доверительницы во время поездок? Наконец, эта дама, быть может, сейчас лишь из-за границы, из Франции, Бельгии. Наверное, здесь её муж. Но какое красивое, ангельски красивое и вместе отталкивающее лицо. Где я её видела, где я видела? Так только, мерещится...

А приезжая миллиардерша ласкала сильно побледневшее лицо хозяйки прозрачными хрустальными глазами, говорила по-английски:

— Я так счастлива познакомиться с вами. Я столько слышала о вас от вашего мужа. Вы столько времени скрывали от меня вашу очаровательную жену. На правах директора объявляю вам строжайший выговор, сэс.

И, когда под серебристый смех, обнаживший жемчужные зубы англичанки, лицо инженера Дютруа залилось румянцем смущения, когда он смущённо спрятал от взгляда жены потупленные глаза, Дину не уколола ревнивая мысль, что муж никогда, ни единым словом не заикнулся ей о встречах с этой женщиной, ни разу не назвал её имени среди десятков имён, которыми он оправдывал постоянно свои поездки. В мозгу неотступно, назойливо стоял вопрос, где она видела эту даму. Где она видела эту очаровательно любезную и жёсткую вместе улыбку, эти прозрачно хрустальные и пустые, словно изнутри занавешенные, глаза. Напряжённо старалась вызвать потускневший образ случайной, быть может, встречи. Говорила машинально:

— Милости просим. Добро пожаловать. Вы так любезны, миссис... миссис...

— Миссис Джексон, — красавица англичанка сама поспешила вывести хозяйку из затруднения.

Но и это имя ничего не сказало Дине. И за завтраком, за шампанским, когда директора мямлили тосты, и потом, когда иностранцы с боязливым смущением следили за напряжённой шеей дьякона, оплетённой верёвками жил, когда, подкатив зверски глаза, выдвинув челюсть, тот выводил громовое «многолетие», тот же вопрос заслонял перед Диной всё: «Где я видела?»

И странно далёк показался ей муж.

Маленький, суетливо мятущийся под спокойными сытыми взглядами денежных тузов, трусливо прячущий глаза от неё, будто избегающий оказывать особое внимание своей прелестной соседке с хрустальными глазами.

И, когда она машинально скользнула своим печальным усталым взглядом по лицу мужа, только одно представление отчётливо отпечаталось в мозгу: лоб мужа, мягкий, с жировой подкладкой под кожей, чуть-чуть сморщенный складками, лоб безвольного светлого блондина, залитый матовым румянцем, покрасневший, орошенный крупными частыми капельками пота.

Но была минута, когда в памяти Дины вспыхнула почти вся обстановка забытой встречи с загадочной гостьей.

После завтрака снова отправились на постройку.

За это время успели прочистить шлюзы, убрать осколки от взрыва. В присутствии сильно подвыпивших рабочих, директоров и начальства, порядком освежённого шампанским и ликёрами, открыли ближайший рукав, и турбина с шипом вобрала воду; и тотчас было видно сквозь стеклянный пролёт — в здании станции двинулся огромный маховик.

Снова нестройно заголосили рабочие.

Арку железного мостика через шлюз ещё не успели заклепать.

На ту сторону, на огромный гранитный валун, скользким горбом вылезший из бурой пенистой каши быстрин, перекинули доску.

Первым двинулся инженер Дютруа.

Забывши про свой фрак, про белоснежный жилет, весь охваченный мыслью о том, не подведёт ли, не осрамит ли его перед директорами вторая турбина, он в два размашистых прыжка, чуть толкнувшись о доску ногою, очутился на той стороне. Тотчас же сбежал к самой воде, к рабочим, что-то объяснял, и было видно, как купаются в воде его лаковые ботинки и пенистые ключья липнут к модно проглаженным брюкам.

Храбро перешёл и исправник.

Становой, и на твёрдой земле беспомощно цеплявшийся за приятеля, фабричного инспектора, наотрез отказался перейти под предлогом — любопытство мать всех пороков.

Банкиры трусливо балансировали отвислыми животами, кистями рук, отягчёнными стопочками перстней.

Дина стояла с гостьей в стороне, рассеянно глядела, как закручивает свои хитрые узелки быстрина у шлюза.

Машинально отвечала на вопросы, машинально же ринулась к мосткам вслед за гостьей, когда та вскричала в настоящем восхищении:

— Какая прелесть! Над самым водопадом... Я иду обязательно!

Быстрым грациозным движением подхватила модный коротенький трен, чуть обнажила точёные, облитые тончайшим шёлком ножки, смело ступила на вздрагивающую доску, перешла, твёрдо и мерно ступая, не взглянув в стороны, высоко неся прелестную, словно сиянием озарённую золотом вьющихся волос под вуалью, головку.

Повернулась на той стороне под одобрительный гогот рабочих, не поскользнувшись на горбатом валуне, сделала шуточный реверанс в сторону Дины.

И когда Дина ступила в свою очередь на доску и дошла до середины, холодно, жёстко мерцающий взгляд прозрачных голубых глаз отыскал с валуна глаза Дины, связал, приковал к себе, и та ощутила, как обессиливающее мягкое головокружение туманит ей голову.

И даже, когда под неподвижно замершей ногой трепетно дрогнула доска, ещё и ещё... будто кто-то легко, незаметно, но настойчиво толкал конец её с камня, Диной не овладела страшная мысль, что — минута, и она полетит в водопад и турбина втянет и сметет в бесформенную массу её тело.

Словно плотный туман накрыл и окутал сознание. И в тумане, возле прозрачных мерцающих глаз, стали светлеть, вырисовываться образы. Навес над платформой, смуглые чернородые губастые лица в тюрбанах, пробковые белые шлемы, гортанные голоса «бохи» и в центре знакомое прелестное жёсткое лицо с пустыми прозрачными глазами.

«Где, когда это было?..» Доска вздрагивает сильнее... Ещё одно маленькое напряжение памяти, и она вспомнит...

Звонкий металлический смех вспыхивает над ухом.

Маленькая, но сильная рука впивается в её руку. Её тянут вперёд. Машинально подаётся послушным телом в этом направлении, чувствует под каблуками твёрдую скользкую спину гранита, и ухо слышит теперь, как шипит и плюется водопад.

Смотрит изумлённо, беспомощно в прозрачные голубые глаза протянувшей ей руку женщины. Та смеётся, настойчиво спрашивает:

— Вы испугались? Правда? Вам дурно? У вас закружилась голова?

Испытывающий жёстко-весёлый зелёный огонёк вспыхивает в глубине прозрачных глаз.

И тот же настойчивый, она назвала бы бестактный, если бы могла отряхнуться от загадочной мутной апатии, придавившей сознание с самого утра, вопрос вертится на губах англичанки постоянно.

За обедом предлагала его несколько раз с лукавой загадочной улыбкой. Потом, когда решили устроить пикник, ехать на озеро, осматривать пещеры, те самые, о которых плотник Илья рассказывал, будто в них «чудь балуется», и Дина очутилась в экипаже рядом с миссис Джексон, англичанка опять наклонилась к её уху, шепнула загадочно смеющимся, вздрагивающим шёпотом:

— Вы испугались? Правда?.. Вы меня боитесь?

И опять спросила в пещере, когда случайно остались одни. Спросила за минуту до того, как случилось...

Это случилось так.

Банкиры в пещеры не полезли. Уютно устроились у самой воды на бархатной отмели, на пушистом ковре, который не забыла захватить из дому запасливая прислуга.

Слепы и глухи к окружающей дивной картине, подвешивали в звонком вечернем воздухе биржевые термины, перекидывались цифрами. Впрочем, и природе и озеру отдали дань — распорядились, чтобы не откупоренные ещё бутылки спустили с берега в воду на верёвках для охлаждения. С прибаутками тянули одну за другой бечёвки по мере надобности, затейливо и «крепко» острили на тему о «ловле макрелей».

Хозяину нечего думать было покинуть наиболее именитых гостей. Дина обернулась было в его сторону, но встретила такой трусливый, такой испуганно предостерегающий взгляд, что слова сами застряли в горле.

Англичанка, первая, не дожидаясь никого, скрылась в гранитной расщелине. Студенты-десятники вызвались провожать дам.

Путеец был уж «готов» и от сухой марки шампанского, и от прозрачных глаз очаровательной миллионерши. Смело углубился в пещеру, на ходу мучительно силился сконструировать в уме прилично выразительную английскую фразу по рецепту Туссепса и Лангеншейдга.

Технолог предложил руку Дине.

С невольным жутким чувством бесформенной робости переступила груды обломков у входа в пещеру, раздвинула колючие ветви кустов, маскирующих трещину.

Здесь, по словам Ильи, мигал в тот вечер странный, передвигавшийся огонёк. Нет никаких следов угля, костра, кусты не обожжены. Рыбакам здесь действительно нечего делать. Там и сям чёрные скользкие зубы гранита торчат из воды. Масса коряг, вымокшие губкой, полусгнившие стволы сосен с корнями затащило песком. Вырвало бурей тут же, с обрыва, либо приплавало приливом с финляндской стороны.

Технолог щёлкнул выключателем электрического фонаря. Протиснулись между выпяченными боками гранита, очутились в просторном низеньком зале с изъеденными трещинами и выпуклостями стенами.

Сюда ещё проходил откуда-то сверху мутный сумеречный свет. Студент повёл фонарём, и в задней стене чёрным зевом разинулась трещина внутрь, в глубину.

Свет фонаря побродил по потолку, и с потолка оторвался, должно быть, небольшой камень, серый, продолговатый.

Упал прямо на Дину, отшатнувшуюся с испуганным криком, толкнул ей щеку мягким, пушистым телом и исчез без стука. И за ним оторвались от потолка, бесшумно замешались в воздухе, в свете фонаря большие тени. Студент тревожно спросил:

— Вы испугались?

— Я не боюсь мышей... Я крикнула от неожиданности. Однако наша гостья исчезла?..

В ответ из трещины, чёрной пастью зиявшей в задней стене, прозвучал низкий, придушенный гранитными сводами голос:

— Allons, haut le pied![9] Тут сталактиты, via!

В трещину пришлось пролезать согнувшись.

Здесь подземная зала выросла вдвое и потолок плотно задёрнут был тьмой. В углу, на фоне красного света — путеец второпях захватил на постройке фонарь с вагонетки, — чёрным силуэтом отпечатались контуры гибкого, тонкого тела англичанки. Она наклонилась над чем-то, что-то копала, и красный свет фонаря вымазал ей лоб, подбородок и щеки кровью. Технолог пошутил, вылезая:

— Н?chsen K?che?..[10]

Путеец отозвался радостно, тщательно выговаривая недавно заученное слово:

— Д-дж-жипси!

Англичанка на минуту обернулась на рискованные комплименты, рассмеялась металлическим смехом, сказала:

— Смотрите, какая прелесть... Сталактиты. А здесь, под сталагмитом, смотрите, что я откопала.

Англичанка выпрямилась, поднесла руку к фонарю, и чёрными провалами глазниц и носа зловеще глянул пожелтевший человеческий череп. Технолог зябко тотчас поёжился, вспомнил, что, пожалуй, пора и домой, что оставшиеся на берегу будут беспокоиться, что сыро, знаете, к вечеру становится...

Англичанка со смехом стыдила студента, кидая колючие французские насмешки. Путеец на вопрос своей дамы, не желает ли он покинуть её, возмущённо фыркнул и на другой вопрос, идти ли вперёд, обращённый ко всем, проревел с готовностью:

— Об-бяз-зательна-а!..

И пошли по тесному коридору вперёд.

Впереди англичанка, насмешливо подбодрявшая спутников, за ней Дина, потом пьяный путеец. Арьергард замыкал трусливый технолог, заставлявший ежеминутно ползать свет своего фонаря по стенам подземелья, по потолку, под ногами.

Англичанка сердито окрикнула:

— Voyons, voyons en avant![11] Свет надо беречь... Идите друг за другом, шагах в десяти, ориентируйтесь по слуху, по шагам впереди.

И Дина, сквозь накрывшую в этот день дымку тяжёлой апатии, услышала далеко позади пьяное бурчанье путейца:

— Об-бязательна-а!..

Шла машинально вперёд, не слыша ничьих шагов, смутно следя за мигающим впереди фонарём, спотыкаясь, обострившимся инстинктом сохраняя равновесие.

И когда внезапно наткнулась на мягкую спину проводницы, подошла вплотную, услышала встревоженный голос англичанки:

— Студенты отстали... Где они?

И тогда не вспыхнуло ужаса. Весь этот день рассудком владело безразличие. Да и этот ли только день?..

Англичанка крикнула, напряжённо подавшись гибким телом назад:

— Алло, алло! Надо спешить... Где вы?

Низкий потолок подземелья съел звуки. И в первый раз в сердце заползла холодная струйка, когда на второй, третий, четвёртый крик англичанки в освещённое пространство лишь плотнее и гуще вползала жуткая каменная тишина. Англичанка сказала дрожащим голосом:

— Идёмте назад... Они заблудились.

— Или мы? — отозвался в глубине мозга Дины чей-то беззвучный голос. Быстро пошли назад, спотыкались, ощутили разом напрягшимися нервами со всех сторон давящую страшную каменную тяжесть. И сразу отяжелели почувствовали усталость ноги, всё тело.

Англичанка брезгливо встряхнула рукой, и Дина почувствовала, как под ногой хрустнула полувисевшая кость.

Внезапно свет фонаря испуганно метнулся, погас, и Дина ощутила на уровне пояса прикосновение мягкой шелковистой причёски. Англичанка крикнула откуда-то снизу:

— Стоп! Ни с места... Я оборвалась куда-то.

Тотчас опять вспыхнул бледный, блуждающий свет фонаря. Дина, осторожно ступая, подобрав платье, сползла к англичанке, стала рядом. Обрыв, вернее, обрывистая ступень доходила им до пояса, гранитная, твёрдая, с гладко отполированным закруглённым гребнем. Очевидно, подпочвенные воды стекают сюда весною. Они отполировали русло этого маленького водопада.

Англичанка повернула к Дине занавешенное тенью лицо. Прошептала страшным, сорвавшимся шёпотом:

— Мы через эту ступень... не проходили. Вы... понимаете?

Тотчас вскарабкалась вверх, на уступ, бросилась назад, быстро смазывая светом нависшие своды, крикнула с трудом поспевавшей за нею спутнице:

— *Vogue la gal?re!*[12] Кажется, здесь. Кажется, эта расщелина?..

И, когда через четверть часа, обессиленные, еле волоча отяжелевшие ноги, остановились перед сплошной гранитной стеной, запиравшей ход наглухо, Дина беспомощно упала на прикрытую глиной кучу мелкой каменной осыпи.

Англичанка закричала отчаянно:

— Алло, алло! Помогите!

И будто придавила уши тотчас за криком раздувшаяся тишина. Дина нашла в себе силы приподняться, ободряюще положила руку на плечо обезумевшей англичанке, сказала:

— Успокойтесь, миссис Джексон, успокойтесь, умоляю вас. Нас будут искать, нас найдут...

Англичанка в бешенстве вырвала плечо из-под руки, положила на камень фонарь, обеими маленькими сильными руками схватила увесистый гранитный обломок, застучала им в стену, закричала отчаянно, с визгом.

И темнота тяжело сжёвывала и стуки, и крик.

Потом в стороне входа странно дрогнул воздух, хряснуло в потолке, будто сдвинулась и осела тяжёлая, страшно тяжёлая масса, сверху посыпалась на голову мелкая осыпь, и, коротко звякнув, погас раздавленный фонарь...

И было долго темно и тихо. И Дина успела довести до сознания мысль, что осталась жива, что случился обвал, что минуты, быть может, осталось прожить, что придётся испытать муки замурованной, задохнуться. И внезапно обострившимся слухом, рядом, тут, в темноте, уловила шёпот... нет, не шёпот, а свистящий, сдавленный злостью, змеиный шип:

— Как я вас ненавижу, как ненавижу, не-на-ви-жу!..

VI

Снова прошипел рядом придушенный голос:

— Как я вас ненавижу, как...

Темнота застала врасплох. Перед глазами, где-то изнутри, метались причудливые светящиеся фигуры и образы.

Мутное сонное чувство, что не покидало Дину с утра, ещё тяжелее придавило сознание.

Не вздрогнула, даже ощутив на плече, около шеи, прикосновение дрожащей холодной руки. Англичанка шептала, задыхаясь, чуть слышно, будто рядом подслушивал кто-то.

— Я ненавижу вас... Не прикидывайтесь наивной, святоша. Мы умрём обе, мы задохнемся. *La force est jou?*е.[13] Я так рада, я буду слышать, как вы умираете. Жаль, разбился фонарь... Ненавижу вас.

Острое изумление привело в себя Дину. Спросила, не чувствуя ужаса, со спокойным почти любопытством:

— Меня? Но... что я вам сделала?

На минуту шёпот замолк. Цепкие пальцы, вздрагивая, сильнее впились в плечо Дины. Наконец опять просвистел в темноте по-змеиному над самым ухом:

— Она... она спрашивает, что сделала мне? Отняла того, в ком долгими годами мучений я выносила всю свою жизнь, всё своё счастье. Отняла человека, мизинца которого не стоит сама со своей святостью, со своими совиными глазами. И теперь спрашивает, что сделала?.. Посмейте теперь, перед лицом смерти, отрицать, что вы не увлекали Джима сознательно?

— Но, миссис, какого Джима?

В голове Дины сверкнула догадка: миллионерша помешалась от ужаса. Дина испуганно отшатнулась, повторила, пытаясь собрать вспугнутые мысли, освободить от странной давящей апатии, что с утра вязала её тело:

— Но, миссис Джексон, Бога ради, успокойтесь!

В темноте было слышно, как выпрямилась англичанка, как под порывистым шагом хрустнул гравий. Крикнула полным голосом злобно и резко:

— *Bouche close!*[14] Не Джексон, а... Абхадар-Синг! Теперь знаете, что вы мне сделали?

Давно забытое имя не сразу проникло в сознание. Яркое потом озарило далёкую картину: дверь кабинета с вырванным замком, бумаги, разбросанные на огромном письменном столе, сгорбленная, трясущаяся от рыданий фигура отца на диване.

Да, это имя знакомо Дине. Отец не раз говорил, что женщина с этим именем вдохновляла компанию, ведущую его к гибели. Но что сделала она, Дина, этой красавице, собственнице колоссального богатства? Ей не пришлось даже встретиться с этой женщиной в Индии.

Дрогнувшим голосом, но настойчиво, без злобы повторила вопрос:

— Я слышала про вас, но не знаю... Я не знаю, что мы вам сделали?

— О, вы мне ничего не сделали! — подхватил издевающийся голос. — Решительно ничего. Если ваш батюшка намеревался пустить меня по миру, разве это значит что-нибудь? Разве что-нибудь значит, если женщину бросит человек, который для неё дороже жизни? Если жизнь того же человека, его карьера, будущее бесповоротно разбиты из-за девчонки с косой цвета пеньки и глазами креветки...

Догадка оформилась разом. Дина перебила спокойно и сухо, будто у себя в гостиной ставила на место забывшуюся гостью:

— Вы говорите о Саммерсе? Будьте уверены, что мне он так же безразличен, как...

Англичанка подхватила злорадно, снова впившись в плечо Дины цепкими пальцами:

— Как кто?.. Как мне ваш муж, не правда ли? Однако мне не помешало это отнять у вас вашего добродетельного героя супруга. Что? Вы не подозревали? Вы не подозревали, зачем ваш супруг каждую субботу мчится в город? Разве он вам не рассказывал, как мы проводили с ним время весь этот месяц? Он отговаривался делами... Вам не пришло в голову попытаться удержать его от поездок? Бьюсь об заклад, что пробовали не раз... Как я вас ненавижу!

Лёгкая дурнота закружила голову Дины. Тотчас оправилась. Почти спокойно слушала признания англичанки. В самом деле, разве Вася и без этих поездок не далёк от неё уже давно? Разве самой ей их брак не представляется давно тяжёлой ошибкой?

Инстинкт, невольное чувство брезгливости, не страх, толкнули тело в эту минуту, заставили сделать шаг дальше от англичанки. Та злобно расхохоталась.

— Боитесь, что покончу с вами сейчас же? Успокойтесь. Я не так глупа, чтобы давать вам лишний козырь против меня на том свете. Вы издохнете своей смертью, мой ангел, и, клянусь Юпитером, я перестану дышать после вас, позже, слышите?

Снова сильнее закружилась голова. Машинально отыскивая в темноте точку опоры, нашарила гранитный обломок, присела, бессильно свесив внезапно отяжелевшую голову.

Сильно стучало в висках. И тяжёлая волна отлила ото лба, когда попыталась выпрямить шею, отлила и, колыхнув тело, толкнула на миг остановившееся в перебое сердце.

Из темноты прошипел злой голос:

— Вы чувствуете? Начинается... нам остаётся жить не больше часу.

Мягкий, усиливающийся, напряжённый звон родился в ушах. Одновременно нос ощутил чуть заметный кисловатый запах. И в памяти Дины родилось давно забытое потускневшее воспоминание: сотни голов, склонённых над книгами, мягкий, приплюснутый сверху плоскими абажурами, свет электрических лампочек на длинных столах, огромные, арками, окна. Тот же, чуть кисловатый привкус воздуха, переработанного в течение долгого дня в читальном зале огромного книгохранилища сотнями человеческих лёгких.

Не удавалось вздохнуть полной грудью. Напрягла лёгкие, и вместе с глубоким вздохом кровь

тяжело стукнула в голову, чувство пустоты, слабости родилось в конечностях.

Темнота прошипела над ухом злым шёпотом:

— Теперь нас хватились. Ваш муж сходит с ума. Вы думаете, он беспокоится о вас?..

Темнота мягко заколыхала голову, потом всё тело.

Дина перестала разбирать, сидит ли она по-прежнему на обломке гранита, или рядом, на гравии, бессильно распротёрто её тело. Теперь сердце билось неровно, испуганными толчками, будто срываясь с чего-то.

В первый раз мысль о смерти пронизала сознание.

Через час её уже не будет в живых. Так бессмысленно, мучительно, одиноко умереть... Но мысль о смерти не вызвала слёз, не вызвала воспоминаний. Почти с любопытством Дина следила за нарождавшимися ощущениями.

Усиливался звон в ушах. Ей казалось, что различает удары далёкого колокола. Тело постепенно теряло свой вес. Причудливые фосфены перед глазами погасли. На смену из темноты выступали настоящие картины, окрашенные, отчётливо прояснявшиеся, словно всасывавшие окружающую темноту.

Прошли перед глазами знакомые улицы индусского города, смуглые лица под тюрбанами, под плетёными китайскими шляпами, рослые фигуры сипаев на перекрёстках, подслеповатые глаза знакомого перса, торговца жемчугом. Потом заколыхалась перед глазами зыбкая поверхность воды. Далёкие крики родились в ушах. Медленно проползло воспоминание о муже и погасло, не вызвав образа. Вместо знакомого, такого близкого когда-то лица, встретила чей-то пристальный взгляд из темноты — взгляд глубоких, синих, оттенённых длинными ресницами печальных глаз. Вздрогнула под этим взглядом, почувствовала, как румянцем смущения жарко загорелись щёки. Сбросила разом дымку причудливых галлюцинаций и в темноте, снова сгустившейся, снова тяжело придавившей сознание, различила новые звуки. Кто-то сухо мучительно всхлипывал.

С усилием приподняла, передвинула тело. Ощупью отыскала дрожащую, похолодевшую руку женщины. Крепко сжала, не выпустила, когда испуганным движением тонкие пальцы метнулись освободиться. Сказала тихо:

— Успокойтесь, не надо плакать. Успокойтесь... Бедная...

Почувствовала, как перестала сопротивляться холодная рука, как мягкий и тихий плач пришёл на смену сухим рыданиям.

Потеряла представление о времени.

Теперь не удавалось дышать полными лёгкими, и, когда доводила вздох до конца, страшное головокружение мутило рассудок, останавливало биение сердца.

Скоро погасло обоняние. Перестала ощущать острый запах ядовитого воздуха, но отчётливо слышала теперь свои же свистящие вздохи. Прояснилась в мозгу на минуту мысль о молитве.

Вспомнила в последний раз о муже, с усилием звала из темноты его образ и опять, вместо него встретила взгляд синих печальных глаз.

Тело заколыхалось сильнее. Стало тускнеть, уплывать сознание.

Как во сне, издали будто, слышала странный пронзительный крик англичанки, слышала, как быстро вскочила рядом, как гулко, настойчиво грохнули стуки, должно быть тем же обломком, что стучала англичанка сначала.

Потом всё потухло: и звуки, и образы, и звенящая тяжёлая тьма свитком свилась и исчезла...

И первое, что ощутила Дина, вернувшись к сознанию, было мучительное ощущение страшной тошноты и сознание, что она уже умерла или лишилась рассудка. Яркие волны электрического света рисовали тенями гранитные стены подземелья, и прямо в лицо Дине глядели полные пылivoго страха знакомые синие печальные глаза, глаза человека, образ которого настойчиво преследовал её в последнюю минуту, вытеснив образы близких.

Слабый, мучительный стон расклеил губы Дины. Страшным усилием приподняла отяжелевшее тело. Снова упала на камни, теряя сознание от острого панического ужаса.

Из темноты двигался призрак со знакомым бледным лицом, лицом доктора Чёрного. А дальше, прикрытые тенью, наклонялись к ней с широко раскрытыми глазами лица двух мертвецов — Джеммы и Дорна...

VII

Дина в своём любимом фланелевом белом халатике, с которым не расставалась в Индии, усталая, бледная, с синими кругами, делавшими ещё больше её огромные серые глаза, растянулась в плетёном шезлонге на веранде директорского дома.

Не совсем ещё оправилась от пережитых вчера потрясений. С наслаждением пила полной грудью крепкий насыщенный запахом осени воздух.

Было тепло.

Мягко, прозрачно тепло, как бывает на севере в конце сентября, бабьим летом, когда заалела и сморщилась уже рябина, когда берёза теряет последние блеклые листья и по бирюзовому бледному небу наперегонки с прозрачными хрупкими раковинами белоснежных высоких облаков плывут и рассыпаются стайки отлетающих птиц.

Непривычными, новыми звуками доносился со станции пущенный в ход голос водопада, стиснутого гранитными шлюзами, угрюмо ворочавшего турбины. На крыльце кухни, было видно с веранды, плотник Илья, в линючей заплатанной синей рубахе, вертел к обеду мороженое.

Перебежала через двор к леднику тонкая стройная затаенная фигурка тамулки-горничной — настоящая барышня.

Дина сладко потянулась, закрыла глаза, внезапно расширила зрачки, сказала, испуганно пожимаясь от вспыхнувших жутких воспоминаний:

— Господи! Какой ужас! Никогда в жизни не подойду к этой пещере. Мне и теперь минутами кажется, что я не пришла ещё в себя. Боюсь, вдруг открою глаза, а кругом темнота...

Негромкий мужской голос отозвался серьёзно:

— Нет ничего опаснее исследовать такие пещеры, не имея опыта. Они тянутся иногда на десятки вёрст. Мы вошли в них два дня назад ещё в Финляндии, вёрстах в семи от своей

дачи, а вышли вы знаете где.

Дина снова пугливо поёжилась. Сказала шутливо, тоном, странно не шедшим к серьёзному, виноватому будто, выражению глаз:

— Вы — моя судьба, Александр Николаевич. Который раз вы спасаете мне жизнь?

Доктор отозвался, изумлённый:

— Вам?

— Не всё ли равно... моим близким. Не будь вас, я и замужем теперь, пожалуй, не была бы.

Доктор молчал. Глядел с веранды на просеку. Странное смущение, неловкость овладели Диной. Вспыхнуло внезапно воспоминание, случайно, гаснущим слухом пойманное слово там, в пещере, когда её, снова терявшую сознание, доктор взял, как ребёнка, на руки.

Нет, ей просто показалось. Разве могли говорить таким голосом и такие слова эти спокойно, почти жёстко сомкнутые губы? Галлюцинация слуха... Дина жарко покраснела, поймав себя на настойчивой мысли: а может быть, нет? Может быть, правда? Заговорила, пытаясь справиться со своим смущением:

— Больше всего меня напугал Дорн и эта... барышня. Какое поразительное сходство? Чуть бледнее и выше. В остальном вылитая Джемма.

Доктор отозвался с мягкой улыбкой:

— Наш отшельник сумел оценить это сходство не хуже нас с вами, Дина Николаевна. Я особенно рад за него.

— Дорн страшно изменился, — возразила Дина. — Доктор, неужели вы не посвятите меня, что с ним происходило?

Доктор опять улыбнулся одними глазами, ответил уклончиво:

— Ничего особенного. Провёл эти два года наедине... с самим собою. В его возрасте это сильная тренировка.

— Да, да. Моего Дорна подменили. Смотрите, у него и походка другая.

В конце просеки со стороны водопада двигались две высокие худощавые фигуры. Мужчина в изящном, светлом костюме мягкую серую шляпу держал в руке, и солнце, протиснув лучи между стволами сосен, мазало золотом его белокурые волосы. В стройной, с уверенными, настоящими мужскими движениями, фигуре Дина не узнавала старого приятеля, угловатого, сутулого, вечно нахмуренного Дорна. И, когда издали ещё он закричал, махнув шляпой:

— Мы предупредить, к вам гости, — голос его звонко раздался полными крепкими нотами, вспугнул за лесом чёткое эхо.

— Какие гости? О ком говорите?

Молодые люди подошли к самой веранде. Смуглая большеглазая девушка, опиравшаяся на руку Дорна, отозвалась по-французски:

— Кто-то едет сюда с колокольчиками. Мы видели с горы — три экипажа. Спешили предупредить.

— Странно. Вася не может вернуться так рано. Почему вы думаете, что к нам?

— Экипажи свернули к плотине! — сказал Дорн, покашливая по старой привычке.

— Не представляю, кто бы мог быть? Как вам понравилось у нас, мадемуазель?

Смуглая девушка отозвалась восторженно:

— Я не видала севера до нынешнего лета. И я никуда не двинусь теперь отсюда. Папа сходит с ума, требует меня телеграммами, я ответила категорическим отказом. Я русская.

— А как же университет? — улыбнулся доктор.

— V'la! Он говорит, — девушка доверчиво прижалась к локтю своего спутника, — он говорит, что в Петербурге есть такие же курсы. Не правда ли, мадам? Мы отлично устроимся здесь, в России, правда?

— Дорн, слышите? — значительно переспросила хозяйка.

Студент отозвался бодро, с чуть заметным смущением:

— Конечно, слышу. Товарищ Эме совершенно права. Мы устроимся в Петербурге.

Дина улыбнулась не без лукавства. Спросила с недоумением:

— То есть как это «устроитесь»?

— То есть так!

Дорн огрызнулся сначала враждебно, потом не выдержал, осклабил добродушной улыбкой, сказал, пряча от Дины смущённый взгляд:

— Она меня разучила сердиться.

Колокольчики плакали уже на просеке.

— Это становой, — Дина разглядела знакомую караковую пару.

— Было три экипажа, — подтвердил Дорн.

Тарантас станового подкатил к веранде. Бравый поручик, успевший опохмелиться на вчерашние дрожжи, держался бодро. Выскочил из тарантаса, к удивлению хозяйки, не пошёл на веранду, ограничился торопливым сухим «под козырёк», громыхая шпорами, разминал затёкшие ноги. И в тарантасе Дина, ещё не успевшая оформить смутного тревожного предчувствия, разглядела испитое угреватое лицо одного из конторских писарей и зверски отодранную толчёным кирпичом бляху старосты, боком прилепившегося к облучку.

Становой бросился навстречу новому экипажу, ямской тройке со станции. В экипаже рядом с поднятым воротником штатского тёплого пальто мерцал серебряный прибор офицерской шинели. Вылезли высокий худощавый господин с бритыми сухими губами, с судейским значком на бархатном околыше фуражки, и коротенький рыжий толстяк с носом, покрытым сеткою маленьких жилок, с багровыми щёками. Толстяк был в погонах жандармского ротмистра.

Странные гости о чём-то спросили станового, обменялись быстрым взглядом, двинулись к веранде. За ними со сконфуженным видом поплёлся становой.

Угреватый писец шёл рядом со становым с видом победителя, кидал на веранду колючие взгляды, высоко поднимал жидкие брови.

Подкатил третий экипаж, тоже тарантас с железнодорожной станции, и, сухо щёлкая ножнами шашек, лязгая огромными шпорами, соскочили на землю четыре стражника с щетинистыми проволочными усами, громоздкие, неуклюжие, в барашковых шапках, с жёлтыми шнурами аксельбантов на богатырских грудях.

Господин в судейской фуражке впереди всех взошёл на веранду, положил на стол тяжёлый портфель, сказал, протирая очки, негромко и вежливо, барским баритоном, мягко смазывая букву «р»:

— Не могу ли просить доложить о нашем приезде хозяину дома?

Дина, поднявшаяся со своего шезлонга, с тревожным изумлением глядела на незнакомые лица, поспешила ответить:

— Мужа нет дома. Он вчера ещё уехал в Петербург, провожать комиссию. Я к вашим услугам.

— Ах, вашего супруга нет? Какая жалость, а-я-яй!

Бритый господин почтительно приподнял фуражку в сторону хозяйки, обернувшись, что-то сказал толстяку ротмистру. Тот разочарованно фыркнул, громыхая тяжёлым палашом, придвинулся к становой. Становой, почтительно откозыряв, сбежал с крыльца. Грубый голос прокрякал: «Так тошно». И, тяжело топоча подкованными сапогами, побежали, придерживая шашки, два стражника. Один побежал по просеке, к водопаду, другой к задней двери директорского дома. Взбежал, спотыкаясь, по лестнице, сделал страшные глаза в сторону смуглой молоденькой горничной, в изумлении выглядывавшей из кухни, прихлопнул корявой лапшей дверь, просипел угрожающе:

— Так что не приказано никого выпускать.

Дина спросила взволнованно:

— Что это значит? Что вам угодно, господа?

Толстенький ротмистр, потирая пять пар сосисок, заменявших на руках его пальцы, корректнейшим образом громыхнул шпорами:

— Тысячу извинений, сударыня. Неприятнейшая служебная обязанность... Ради всего святого, не волнуйтесь, ничего серьёзного. Аб-со-лют-нейшим счётом ничего. Маленькое служебное предписание нам, в присутствии господина товарища прокурора, — ротмистр почтительно качнул в сторону бритого господина толстое туловище. — Да-с, вместе с господином товарищем прокурора произвести маленькое дознание по поводу некоторого э-э... недоразумения с вашим супругом.

— С моим мужем? — Дина испуганно вздрогнула. — Что-нибудь случилось с ним?

— Аб-со-лютно ничего. Тем более что мы осведомлены о нём в данную минуту значительно меньше, чем вы сами, мадам. Хе, хе, хе... Вы разрешите нам освободиться от наших пальто?

— Пожалуйста. Но я, право, ничего не понимаю.

— Пок-корнейше прошу, не волнуйтесь. Через минуту всё выяснится. Уверю вас. Вы разрешите мне с прокурором воспользоваться вот этим столиком?

Бритый судейский сбросил пальто на руки старосты, остался в сюртуке с наплечниками коллежского советника, с правоведским значком. Ещё раз вежливо раскланялся с хозяйкой, с той же сдержанной учтивостью наклонил голову по адресу остальных присутствующих.

Ротмистр хлопотал у стола, звенел чернильницей, шуршал бумагой, вытащил из портфеля бланк с пробелами среди печатного текста, придвинул к письменному столу два кресла, для прокурора и ответчика, мигом превратил веранду в филиал отделения, ведающего «общественным спокойствием и безопасностью», широким гостеприимным жестом пригласил присутствующих к столу отнёсся к судейскому:

— Вы разрешите начать?

Товарищ прокурора молча наклонил голову. Пристально разглядывал тщательно шлифованные ногти бледной сухой руки. Привычным движением двигал на указательном пальце левой руки странного рисунка тяжёлый перстень тёмного металла. Ротмистр обежал быстрым взглядом лица присутствующих, откашлялся.

— Почтительнейше попрошу дам и предложу мужчинам не отказать в осведомлении о своих именах и постоянном э-э... месте жительства. Ваше имя, сударыня?

— Дина Николаевна Дютруа, рождённая Сметанина.

— Супруга заведующего предприятием, которое мы только что имели удовольствие обозревать. Не так ли? Звание? Супруга французского гражданина? Да, да... Ах, вы и курсы изволили кончить? Так-с. Проживаете, разумеется, при муже? Виноват, я пока не буду злоупотреблять вашим временем. Кстати, заготовлю формы для всех. Ваше имя, сударыня? Ах, вы француженка... — ротмистр поспешил перейти на французский, с акцентом, «особому корпусу» присвоенным, язык.

— Эме де Марелль? Это, стало быть, Эмма, Эмилия? Как-с? Всё-таки Эме? Так и запишем. Батюшка генерал? Весьма похвально, весьма. И... документы? Покорнейше прошу, в полном порядке. Ваше имя, молодой человек?

— Виталий Андреевич Дорн. Студент, дворянин, постоянное жительство — Финляндия, дача «Марьяла». Больше ничего?

— Пока достаточно. Вы господа студенты всегда торопитесь... Ваше имя?

— Александр Николаевич Чёрный. Доктор медицины. Приват-доцент.

— Ах, это именно вы и изволите быть? Очень приятно. Ну-с, ваше имя достаточно популярно.

Прокурор в свою очередь с интересом поднял глаза на доктора. Ротмистр опять принялся за Дину.

— Так вы, сударыня, положительно утверждаете, что супруг ваш в отъезде со вчерашнего дня?

— Да, он ещё не вернулся... Я не понимаю вашего тона.

— Тысячу извинений. Разрешите сначала записать показание. Так-с. Вы не будете в претензии, если мы будем вынуждены произвести маленький осмотр. Господин становой пристав! Потрудитесь осмотреть внутренние комнаты настоящего помещения на предмет...

Негромкий, грассирующий голос товарища прокурора перебил:

— Это лишнее.

— Но позвольте... — ротмистр налился кровью, как «американский житель», лёг на стол животом, сделав испуганные глаза, торопливо зашептал прокурору. Судейский бледно

улыбнулся, но повторил так же настойчиво и твёрдо:

— Это лишнее, ротмистр. Показания госпожи Дютруа для меня совершенно достаточны.

Ротмистр возмущённо фыркнул, развёл толстыми пальцами, кинул в сторону наблюдающего за дознанием тоном снимающего с себя всякую ответственность:

— Тогда потрудитесь сами. Я, со своей стороны, протестую.

Товарищ прокурора повертел карандаш, откашлялся, начал, стараясь избегать встречи с испуганным взглядом взволнованной хозяйки:

— Видите ли, сударыня... Я не вижу надобности скрывать от вас с самого начала. На вашего супруга поступил одновременно ко мне и в жандармское отделение донос, будто супруг ваш пользуется для проживания здесь, в России, чужим, подложным паспортом, будто настоящее имя вашего супруга... Василий Беляев.

Товарищ прокурора не поднял глаз. Зато ротмистр словно шилом сверлил лицо Дины, налившееся жаркою краской при последних словах. Прокурор продолжал:

— Жандармское отделение уведомило нас, что справками обнаружено: Василий Беляев, бывший студент, скрывшийся несколько лет тому назад за границу в связи со студенческими волнениями, разыскивается департаментом полиции. Результатом всех этих сведений явилось наше посещение. Предупреждаю: в качестве жены вы имеете право вообще уклониться от показаний по этому делу. Считаю долгом прибавить со своей стороны, всё это дело отнюдь не представляется мне настолько серьёзным. Студенческие грехи господина Беляева слишком незначительны. Всё сводится, стало быть, к проживанию по чужому виду. Что же касается подложного диплома на звание инженера...

Дина перебила, не отдавая отчёта:

— Ах, диплом не подложный. Он держал выпускные экзамены экстерном в Чикаго, два года назад.

Ротмистр поспешил подхватить злорадно-торжествующе:

— Стало быть, вы не отрицаете, сударыня, что ваш супруг...

Доктор Чёрный, давно не спускавший глаз с тяжёлого перстня прокурора, внезапно поднялся с кресла, сделал левой рукой быстрый, трудно уловимый жест. Жест не ускользнул от колючих глаз ротмистра, и когда товарищ прокурора, чем-то, по-видимому, взволнованный, дрогнувшим голосом сказал:

— Виноват. В целях правильного и скорейшего ведения дознания я попрошу всех удалиться в соседнюю комнату. Господин пристав, и вы, ротмистр, благоволите принять на свою ответственность этих господ. Вас я попросил бы начать показания, — товарищ прокурора повернулся к доктору Чёрному.

Толстый ротмистр, очевидно, не верил ушам. Задохнувшись, просипел сдавленным голосом:

— Я, очевидно, плохо расслышал? Вы предложили мне покинуть комнату, где производится дознание?

— Требую этого, — спокойно отозвался судейский. — Вы вмешиваетесь в мои вопросы, нервируете допрашиваемых и меня самого. Я опрошу каждого в отдельности.

— Владимир Тимофеевич! — почти угрожающе, запальчиво крикнул ротмистр.

Прокурор оборвал:

— К вам обращается товарищ прокурора окружного суда, господин ротмистр. Вы вынуждаете меня ставить это на вид. Товарищ прокурора, руководящий дознанием. Благоволите оставить нас с господином доктором наедине.

— Я буду телеграфировать, — прохрипел ротмистр, теряя самообладание. — Я немедленно телеграфирую генералу. Это нарушение статьи...

— Сделайте одолжение. Обмен телеграмм между господами офицерами корпуса меня совершенно не интересует. Но должен предупредить, если вы не подчиняетесь требованиям представителя прокурорского надзора, я вынужден обратиться за содействием к господину министру юстиции так же по телеграфу. Угодно вам оставить меня одного?

Пол погнулся под тяжёлыми шагами рассерженного офицера. С грохотом протасил по полу палаш в металлических ножнах, в дверях пропустил вперёд дам и студента, с видом надзирателя уводящего арестантов с прогулки.

Прокурор торопливо поднялся из-за стола, крепко сжал доктору руку, сказал взволнованно:

— Этот идиот вывел меня из терпения. Счастлив приветствовать вас в России. Вы знаете, я долго не верил в ваше существование, учитель.

— Но вы имеете степень мастера?

— Я получил её в прошлом году, в Бельгии, на съезде. Был в отпуске. Прежде я не понял бы вашего знака. Но о вас в Петербурге ходили настоящие легенды.

Доктор улыбнулся, спросил:

— И никому не пришло в голову заподозрить, что объект страшных легенд мирно читает с кафедры параллельный курс физиологической химии?

— Все думали, что приват-доцент однофамилец. Тем более вас не было видно никогда на приёмах у вашего батюшки. Я сам несколько раз имел удовольствие.

— Я навещал отца изредка, в будни, — отозвался доктор. — Как удачно, однако, что мы с вами встретились, брат. Вы можете оказать мне серьёзную услугу.

Прокурор понизил голос:

— Если вы имеете в виду вашего приятеля, хозяина этого дома, я сам готов сделать, что только в силах. Дело не стоит выеденного яйца. Мальчишка когда-то наделал глупостей, теперь взялся за ум, взялся за дело. Теперь изволь расплачиваться за то, что синим рейтузам мерещатся нелегальщина, бомбы. На границе Финляндии, как же, помилуйте... Знаете что, мой совет, пусть он удирает теперь за границу. Ведь он пятый год из России? При хороших деньгах ничего не стоит натурализоваться.

Толстый ротмистр опять одного за другим пропустил в дверь «арестованных», замкнул шестивие, устроился в демонстративном отдалении от стола, положив на эфес, поверх толстых кистей, подбородок, свесил обрюзглые багровые щёки, стал похож на рассерженного старого мопса.

Прокурор начал, обращаясь к хозяйке:

— Я пришёл к заключению, сударыня, что беспокоить вас дольше нет никаких оснований. Ваш супруг не откажется, вне всякого сомнения, сам явиться в мою камеру или камеру

следователя, которому будет поручено дело. Хотя я лично убеждён, что дело едва ли дойдёт до того, чтобы вылиться в фазу следствия. Беспокоить этих господ, не имеющих, по-видимому, даже отдалённого отношения к делу вашего супруга, также не вижу основания. Словом, мне остаётся попросить у вас извинения за неприятные минуты и откланяться. Ваше мнение, господин ротмистр?

Прокурор весело метнул глазами в сторону жандармского офицера. Тот на несколько минут потерял даже способность членораздельной речи. Молча вращал выпученными глазами, и на шее, под тесным хомутом сюртука, вздулся багровый желвак. Прохрипел наконец чуть слышно:

— Я отказываюсь понимать... Протестую... Теряюсь... Вынужден принять крайние меры, предусмотренные циркуляром.

Товарищ прокурора продолжал, будто не замечая волнения ротмистра:

— В подобных случаях закон рекомендует обеспечивать явку заподозренного, в числе других средств, письменным поручительством лица, общественное или имущественное положение которого даёт гарантии. Доктор был так любезен...

— Но позвольте... — почти бросился ротмистр к товарищу прокурора. — Какая же это гарантия? Мы с вами видим господина доктора первый раз в жизни. Невозможно. Я отказываюсь вас понимать, Влад... отказываюсь вас понимать, господин товарищ прокурора.

— Вы, наверное, поймёте, господин ротмистр, если я осведомлю вас о том, что имею честь лично быть знакомым с доктором. И вы согласитесь, что общественное положение, как его, так и его семьи, обеспечивают самые прочные гарантии. Впрочем, вы, быть может, захотите утверждать, что батюшка Александра Николаевича, господин председатель Го...

Румянец на щёках бравого ротмистра разом погас. С видом человека, в грязном белье очутившегося среди элегантного общества, представитель отдельного корпуса подёргал себя за воротник, переступил с ноги на ногу, цепляясь шпорами, уселся особенно тщательно в кресло, долго не мог откашляться. Спросил, отдавая дань больше профессиональному, чем личному сомнению:

— Господин доктор сын его высокопревосходительства?

— Спешу подтвердить это, — отозвался товарищ прокурора. — Я встречался с Александром Николаевичем, будучи ещё в училище. Я сам предложил ему оградить нашу любезную хозяйку от лишних и, повторяю, напрасных волнений. Доктор подписал поручительство. Оно устраивает вас, господин ротмистр?

Несколько минут Дина рядом с доктором Чёрным стояла на пороге, слушала, как усаживались в свои тарантасы представители власти, как стукали ножнами, почтительно «окали» громоздкие стражники на вопросы станового.

Бубенчики караковой пары встряхивали ещё грозди мелкого звона возле крыльца. Затопали торопливые шаги по лестнице. Знакомая худая фигура станового протиснулась в дверь.

Блюститель порядка трусливым волчьим движением прошмыгнул на веранду, молча протянул Дине узкий нераспечатанный синий пакет. Зашептал с видом подкупающего убийцу:

— Матушка, Дина Николаевна, святая женщина. Вот, получите... Давеча перехватил почтальона на станции. Чуть-чуть на тех не нарезался. Вам, вам...

Дина ещё не распечатала конверта, мельком взглянула на знакомый размашистый почерк, а

становой уже гаркнул в тарантасе:

— Шевелись! Трога-ай!

И весело заголосили бубенчики.

Прежнее тревожное смутное предчувствие разом овладело сознанием Дины. С трудом разбирала торопливый, разгонистый почерк мужа. Медленно связывала в уме обрывки отдельных фраз:

«Через Або выезжаю в Англию... Когда ты будешь читать это письмо... — И дальше, вплоть до заключительной фразы: — Не прошу прощения. Если можешь, постарайся понять. Постарайся забыть». И подпись: «Василий Беляев»...

Прислонилась в мутном забытьи к косяку двери. Молча протянула доктору вскрытое письмо. Слышала далеко, в тумане голоса Дорна, Эме... Смеялись, спорили о чём-то в соседней комнате.

Услыхала над ухом мягкий взволнованный голос, такой близкий, проникающий в душу:

— Дина Николаевна, Дина... Успокойтесь. Он вернётся, клянусь вам.

Разом выпрямилась, сверкнула глазами, отозвалась спокойно и холодно:

— Вернётся?.. Я не вернусь, Александр Николаевич. Я давно ушла от него.

Молча стояла под взглядом печальных синих глаз, тех глаз, что мерещились перед смертью в пещере. Прошептала, снова слабея:

— Александр Николаевич, возьмите с собой... научите...

Отшатнулась, поражённая страшной, мертвенной бледностью доктора.

Не отдавая отчёта, мерещится ей или на самом деле, расслышала шёпот, страшный, беззвучный, мёртвый:

— Поздно...

1914

Примечания

1

Ах, ба! Базиль, мой старина!

(франц.)

2

Твой?

(франц.)

3

Дорогой мастер

(франц.)

4

Имена учёных не вымышлены.

(Прим. автора.)

5

Дорогой мастер!

(франц.)

6

Это ничего не зна...

(франц.)

7

Но простите... Но, сударь... Но вы сильно ошибаетесь, сударь...

(франц.)

8

а-ля Вильгельм Второй

(нем.)

9

Вытягивайтесь, по одному!

(франц.)

10

Подземная кухня?..

(нем.)

11

Смотрим, смотрим вперёд!

(франц.)

12

Была не была!

(франц.)

13

Здесь: Игры в сторону

(франц.)

Ни слова!

(франц.)